

Анатолий Сорокин


---

*Грешные  
люди*

---

Провинциальные хроники  
Книга вторая

---



Анатолий Сорокин

**Грешные люди. Провинциальные  
хроники. Книга вторая**

«Издательские решения»

**Сорокин А. М.**

Грешные люди. Провинциальные хроники. Книга вторая /  
А. М. Сорокин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832623-3

Продолжаем хроники. Ноябрьские отпраздновала скучновато. А через три дня алюминиевый раструб известил о кончине Леонида Брежнева. С неделю шаршились ни вашим, ни нашим, кто мог, отметился и помянул добрым словом, отдали дань и Данилка с Трофимом, но тоже как-то скучновато, без вдохновения, от Брежнева сильно устали. На сообщение, что Генсеком избран Андропов, главный толкователь политических событий Данилка Пашкин буркнул: «Ну этот кое-кому покажет!» и будто воды в рот набрал.

ISBN 978-5-44-832623-3

© Сорокин А. М.  
© Издательские решения

## Содержание

Часть третья	6
Глава первая	6
Глава вторая	19
Глава третья	27
Глава четвертая	40
Глава пятая	48
Глава шестая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	63

**Грешные люди**  
**Провинциальные хроники. Книга вторая**  
**Анатолий Михайлович Сорокин**

© Анатолий Михайлович Сорокин, 2016

ISBN 978-5-4483-2623-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Часть третья

### Глава первая

1

Многосложен изошренный мир человека, являющегося индивидуально-обособленным произведением природы и приматом высшего интеллектуального ранга, выше уж некуда. Не вынося бездействия, решает вопросы бытия сиюминутно, по мере их поступления, к сожалению, не всегда способен упреждать события, оказываясь и заложником и жертвой. Люди-человеки, люди-граждане, люди-господа и просто люди-людишки, составляющие массовое большинство и засоряющие мир случайно-необязательным присутствием, все-таки по естеству остаются подленькими натурами, если на особицу разложить. С непременно воньким душком, хочет сам или нет. Каждый себе на уме и с чем-то за пазухой, то влево вдруг шарахнется, так, что держись общество или вправо швырнет, небеса содрогнуться, индивидуальная особенность срабатывает далеко не в общую пользу, отчего другим не легче. Но, опять же, на то он и человек-человечище! Личность хоть и с разгаданным вроде бы геномом, но мрачноватая, в глубине глубин законспирированная создателем, скорее всего, навечно. Слаб пока его мыслительный аппарат на решение задач сложнее условно-первобытного. Став явным раздражителем – как это так, все в разные стороны как от чумы, а этот, красавчик-ухажер липовый с бородищей в совковую лопату, в деревню, да еще к такому хмырю, как их управляющий, – Ветлугин Савелий не мог не привлекать взбудораженную деревеньку. Отвлекаясь ненадолго на общее положение в стране, крупные и мелкие политические передраги районного уровня, достигающие деревни в урезанном толкования, не сомневаясь, что дыма без огня не бывает, снова принимались развязывать и завязывать узел под боком – судьбу Варвары и Ветлугина. Заковыристые загадки бытового характера решались в Маевке двумя способами, в конторе, общим заполошным и неудержимым ором-хайланьем, когда дым коромыслом в кабинете Грызлова, ставившим последнюю точку решительными ударом кулака по столу, иначе вообще не договориться, или у колодца в конце главной улицы. Между прочим, нешуточное явление эти деревенские ассамблеюшки и народные бабы вече у колодцев – вот уж где истина хоть и не первой инстанции, с трепом известным, но до печенок и с конкретикой, кто кому в долг давал и не вернул! Начинается отдельным случайным сборищем бабенок разного деревенского умонастроения, сбегавшихся ведром к ведру по случаю почерпнуть водички и, задерживаясь на пару ассамблейных часов, если подвернется ведущий. С ведущими посложнее, но своя Настя Симакова найдется на каждой улице, будь на ней три подворотни. Неодинаково приняв Савелия Ветлугина и скорую Варварину свадьбу, прокатившуюся через какое-то трудно дающееся усилие многих семейств «одобряем – не одобряем», как водится, не один день шептались, судачили, хихикали, у второго колодца, будто бы на бегу, пока ведро с водой журавлем поднимается, словно известнейшие экстрасенсы с деревенским уклоном, получившие наитие космоса. Строили безрадостные для Варвары прогнозы на близкое будущее, а деваться некуда, факт остается факт, на запущенном подворье бабенки, богом позабытой, мужик расхаживает. Именно мужик, хотя там и увалень, похожий на головешку, и всякое пятое на десятое. В заросшем травой дворе с покосившейся калиткой топорик сочно зачмокал, врубаясь в сырую лесину, в предбаннике молоток застучал, чего неслышно было с тех пор, как Василий Симаков смылся к Настюхе, нето-нето, лопатка попробует землю на стылую твердость столбик вкопать, обшивка завалинки вдруг обновилась, засияв свежими досками, вместо иструхших за полвека.

Но мужи-ик, хреном те в рыло! Деревню не проведешь, по самой невзрачной работе видно, как она делается и с каким желанием: в деревне все на виду и в свой час получает оценку.

Не жмот и не жадина, за между прочим. Лишь подмигни: как там, Савелий Игнатьевич, насчет послесвадебных остатков, которых, конечно же, давно не осталось и прокисать нечему, без всяких распахнет калитку. Молчаливый до непривычности, не чета другим балаболам, навроде Данилки-баламута, да какая беда, молчуны всегда крепче стержнем. Зато, выпив изрядно, в разнос не идет, правду с кривдой не путает и свое не насаждает по разным деревенским заулкам. Мысли не во всем привычны, ну дак в лесной глуши и не до такого дозреешь. Но чинно и сдержанно, власть справа налево или наоборот не костерит как попало, говорит с басистым гудением в бороду, и возражать сильно охотников не находится, не исключая Данилку.

Гостеприимство его Данилка и сам разок испробовал, и в паре с Трофимом.

– Давай, Ветлугин Савелий, давай, борода! Отчаянных мы любим, – позабыв о работе, воспарялся Маевский скирдоправ, наполняя себя плотно Варвариним фляжным духом. – Васька Симаков, он дурак, он пожале-еет под старость. Настюха ему только жизнь укоротить способна, не более. Не больше, хоть у Трофима спроси.

Данилка благодушествует – угощение приличное, капуста ядреная рассольчиком подслащенная. Василия приплел, может быть, ни к чему, но Симаков задурил не на шутку, жалко дружка буйной молодости, не просыхает, язви его, с того свадебного вечера, хотя гостем на нем не был, как и Настя. Правда, уже в сумерках, Настюха в пригоне еще возилась, Василий, ухайдакавшись на полную в затишье за тем же сараем парой поллитровок, на удивление мирно всхрапывал за столом. Настя уложила его без трудов, ухитрившись ближе к рассвету поиграть с ним чуток, удовлетворив жажду проснувшегося муженька-остолопа свеженькой бражкой, вместо ядреного кваса. Была довольной – не часто в последнее время ей улыбалась подобная бабья услада – а с утра заново началось. Только с большим размахом и необъяснимыми странностями: Василий насандалится до посинения и прет в камыши, топчет болотную жижу, словно утопиться готов.

Невозможно ему на трезвую голову совладать с чувствами из прошлого; когда мозги набекрень, как-то вроде полегче. Тяжко Васюхе, думки змеиным клубком: «Гуляют и пляшут, как в лучшие годы! Нашла свое место! А мое где? Почему мое-то тяжелее навоза? Почему у меня, как у свербливой собаки, чешется и зудит?»

Отродясь не съедал его настолько безжалостно и больно червь самолюбия, никогда не владела безраздельно душой Василия Симакова столь сильная тоскливая зависть.

Зависть – отравя похлеще хины!

Зависть – змея неусыпная подколотная, с ней справиться – не ручей перейти!

– Ва-ар-ря!.. За што? – пристанывал взбаламутившийся мужик, не понимая, в чем упрекает неповинную женщину.

Пошумливают сухо камыши, какое им дело. Чавкает противно под сапогами. Засосало бы навечно, по самое горло. Кабы нужен он тебе – этот цыган! Ведь понарошку ты, Варя, назло и в отместку!

Не принимали камыши его тайных стенаний и зависти, не липла неодолимой тяжестью к сапогам хлюпкая болотина, сползая обратно под ноги. Тоскливо было Василию и одиноко. Пусто в душе, а в голове сплошная надсада и гул. Мысли раздерганы, в кучу не собираются, хлюпают, хлюпают, как та же болотная жижа.

Едва наступало просветление, Симаков привычно лез в магазин к Валюхе, залпом, не замечая дрожания рук, опрокидывал в себя стакан. Утирался рукавом, словно челюсти пытался свернуть и опять растворялся в деревенском безмолвии.

Его уговаривали, его стыдили, взывали к разуму. Валентина грозила не давать больше в долг, и так от Насти достается по первое число, Василий рта не открывал в ответ и, какими бы

заулками ни бродил, под какой встречный ветер ни подставлялся, всюду настигала его рвущая сердце нехитрая мелодия Паршуковой тальянки.

Гулянка закончилась более чем достойно, даже никто никому по роже ни разу не съездил, жизнь деревни вошла в привычную колею, а покоя и облегчения Василию не прибавилось: вышли чувства из покорности и повиновения, холодно и одиноко было вокруг, Настя казалось душно-тяжелой и жесткой, как сноп старого жита из отцовских времен.

– Васенька, уедем давай! – вконец издергавшись за минувшую неделю, ревела и упрашивала его вечерами Настя и была страшной, дикой в неподдельной тревоге. Так бывает, когда чувства достигают опасных нагрузок, толкают на запретное, недозволенное, но Василий только мычал. – Уедем навсегда подальше, и позабудется, – уговаривала жена, лишь сильнее ожесточая не менее издерганную душу Василия. – Петя какой уже вырос, сыночек наш, не приласкаешь и не пригреешь отцовским словом. Васенька!.. Ну что ты ходишь вокруг, словно тень? Кто теперь-то она? – Ненасытно нависала она в постели над Симаковым: растрепанная, потная, вызывая лишь отвращение. – Всю жисть я терплю, зная, что так и не смог ты ко мне привыкнуть, и дальше вытерплю. Не о себе только думаю, и тебе плохо, Вася. И вообще, когда все летит в тартары, сколь осталось... Уедем, Васенька! Куда хочешь! Хоть куда, лишь бы... Ва-ас-ся! Не молчи так страшно, не молчи! Убиваешь ты меня одним только молчанием. Убил ведь уже, деспот бесчувственный!..

Симаков оставался хмурым, равнодушным, безучастным к Настюхиной страсти. Лежал, запрокинув голову за подушку, закрыв глаза, и лицо его было мертвым.

Когда же проползла меж ними холодная змея-отчуждение? Когда утратили власть над ним горячие, неотразимые Настины ласки – недавно покорным ее воле и ее желаниям?

Тиха и сыра осенняя стынь за окном, тих, безмолвен Симаков, не принимавший ни мук жены, ни ее тревожных метаний.

А было когда-то иначе, и любил он когда-нибудь ее по-настоящему? Не перехитрила ли ты саму себя, Настя-Настюха, неунывная в давней поре баба-огонь?

– Ва-аас-сся!.. Чем угодить, чтобы я у тебя не самой последней была! Что я такое сделать должна?

Отчаянным криком полнится холодная, запущенная изба, на все готова Настя, лишь бы расположить к себе черствого мужа, только бы заставить взглянуть на нее с человеческим пониманием. Дождем и снегом, студеным ветром и плотной тьмой ложится на прежние радости темная ночь.

## 2

Деревня добродушна и забывчива к прошлому, прощает и отпускает на все четыре стороны своих вырастающих разномастных насельников безвозвратно. Прошлая, словно нарочно позабытая российская деревенюшка, которую и Никитка-парень не смог осчастливить обещанным коммунизмом – и есть нынешнее население Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы, сказки Арины Родионовной, наполнявшие вдохновением Александра Пушкина, приписываемое вдруг с недосыпа татарскому прошлому, бессонные ночи Льва Толстого в рассуждениях о судьбах отечества. Россия, Россия! Величие моногородов с одной стороны, и убогость в дюжину изб на перепутье с другой, заброшенная усадьба под ветлами, поселение на взгорке, высматривающее дальние дали из под уставшей мужицкой руки. Деревня – исток, первая капля, кровинка русской земли и ее нынешнего величия, что многие как-то забыли, – начало начал. Исчезнет деревня – деревня, простая русская деревенька с прудиком или невеликим озерком в камышах, воспетой дюжиной могучих и душевных русских поэтов, – исчезнет Россия, став холодным и равнодушным монстром из стекла и бетона, занятого набиванием денег в кубышки, чуждым русской душе.

Сколько вырастила бескорыстно без принуждения, зная истинное предназначение – заселять российские просторы бабьим терпением и мужицкой силушкой! И на многие войны отпускала ее безмолвно, расставаясь на столбовой дороге под гудящими проводами, редко приносившими добрые вести, и в равнодушно холодные города, где след вообще теряется чуть ли не в два счета, лишь бы туда дорожка упала, и в особо закрытые заведения, куда доставляют лишь под конвоем, где день и ночь еще недавно шла перековка деревенского сознания, откуда вообще ни слуху, ни духу.

Страшно жить в России без сердца, теряющей разум. Омерзительно следить за усиливающимся и усиливающимся бесовским сумасшествием современных распустившихся элит, поддерживаемых новыми президентами, уверенно стучащими себя в патриотическую грудь, как все прежние, желающие России только добра, но не понимающие где его столько взять. А мужику надсадно и тошновато, ему и вовсе подобное не по силам... разве, что эту элиту опять под корень... Он вовсе не понимает, как и по какому принципу у одних рабочий день оценивается хитрыми приватизационными системами как у других сразу лет эдак в пять или семь. Толкователей подобной системы нового народоправства до чертиков, нет лишь непосредственной людской справедливости, по которой хотя бы дети и старики получали на безбедное пропитание, которым вообще невпродых. Не слышно вековых народных стенаний? Так что ж за власти тогда: не слышат, в конце концов, или не желают слышать наши господа толстопузики с выпученными зенками?..

Снег падал густо, сплошной белой стеной, и рассвет Андриану Изотовичу показался стремительным, режущим глаза. Поднимался он тяжело, в дошку влезал, словно в панцирь, который его через минуту раздавит, долго шурился на крылечке. Белые заборы, дома, полуголые деревья словно съежились разом и растолстели. По улице несло желтый березовый лист и горьковато запашистые дымы. Сдал он заметно за последние дни, слушая очередные районные поучения, доносящие московские указания, ничего пока не меняющие.

У колодца, где Нюрка, оголяясь голяшками устойчивых девичьих ног, размашисто крутила вороток, управляющий, шурясь подслеповато, словно близорукий, натянул поводья:

– Язвы их, совхозных обещалкиных, так и не дали гусеничный трактор утрамбовать силосную яму да потолще земель завалить – что вытворяет погода! – Душу путем излить некому, вот пошла жизнь, Нюрке приходится...

– В конторе тепло, я хорошо протопила, Андриан Изотович. – Нюрка по-своему переиначивает беспокойство Грызлова о холодах и незакрытых силосных ямах.

– Мне твое тепло... – накаляется Андриан и переходит на привычный крик, способный заглушить на миг обуявшее беспокойство. – Богом и дьяволом просил Кожилина – ну, пальцем не пошевелил, мать его... с нашим начальством. Нет, ну помощи никакой, а спрос устраивают на полную... Собирай народ, Нюрка, вручную придется.

– А какой народ-то, Андриан Изотович? Ково собирать, когда нет никово... – Пытаясь дотянуться до дужки ведра, показавшегося в зеве колодца, уборщица поскользнулась на дощечке, оступилась калошей в глубокую грязь. – Гля, кума, два пима! Гли-ко, Андриан Изотыч! Андриан Изотович! – Кричит оглашенно Нюрка; вороток бешено разматывался в обратную сторону; пугая управляющего, глаза уборщиц перекосило ужасом.

– Ты что, язвы тебя, ужалили!

Особого не случилось, ручка воротка Нюрку не задела, но беда не с этой стороны, не с Нюркой, дурой заполошной, рука ее выброшена в сторону леса, за огороды. Ничего пока не понимая, но тоже предчувствуя недоброе, Андриан Изотович обернулся резко:

– Где? К ково?

На задах огородов, едва не у леса, ленивым всполохом шевелилось густое упругое зарево. Расправив рыжевато-огненный хвост, широко распуская малиновые подкрылки, наполняло рассветную канитель всеобъятной тревогой, останавливающей дыхание.

– Андриан Изотович, у ково? – тарашилась Нюрка, не ощущая, что стоит в грязи, наполнившей калоши.

Зарево поднималось выше и выше. Заплясали в ярких разводах огня избы, улица, бегущие люди, обновленный дедом Егоршей дальний колодец. Приблизилось, накрывая колпаком: те же дома, лес, речка, звуки.

– Дак че случилось-то? Где? – кричали в одном краю улки.

– У Хомутова, где больше. Хомут один у леса ноне поставил зарод, – отвечали в другом, поторапливая Андриана Изотовича и убыстряя размашистый бег Воронка.

Бабка Меланья плюхалась в блескучей жиже:

– Ох! Охтимнеченьки, нова напасть. Кому... – обеспамятовав от близкого жара и перевозбуждения, сорвалась на безумный крик: – Проклятье ить, бабы! За беспутство! За грехи тяжкие, несмываемые! Придет, придет геенна огненна – давно говорено из веков, с тех пор как церквушку порушили! Дерево с листом под снег – плохая примета. Вона! Гли, Андриянка!

Воронье свалилось на лесок, словно согреться слетелось. Черным-черно. Кар-рр! Кар-рр!

– Во-она! Падаль чует вещун-птица, поживы ждет. Кто первый? Кто? За тобой, знать, Андрианка, мотри-ии, безбожьи гляделки!

– Уведите старуху... Да уведите же, – обозлился Андриан Изотович, увязнув ногой в ходке и не в силах выброситься с разгону.

– Антихристы! За гриву спорчену, за лужки заречны в корчах скорчитесь, в угар-дурмане загнетесь. Вшами обсыплет, нехристи, – буйствовала старуха. – Грива ягодкой кормила, в духмяные ложки скотинешку гоняли. Молоко-то было... Срамота, ногой ноне ступить некуда. Вся степенушка нутром наружу.

– Баба! Баба! – волокли ее прочь доярки зыбкой трясиной размокшего огорода.

– Сгинь, сгиньте! Дьявол, он завсе соблазнит. Он седне подсунет, шары вам замазать, а назавтра отберет. Смейтесь! Смейтесь насколь, да как бы опосля белугой не взвыть.

Зарод был большой – запас на всю зиму на три живые скотские головы. Взаялся яростно и неподступно. Пластало, закручивалось красным огнищем, расцветчивало вязкое утро багрово-сизыми дымами. Кружились над людьми черные нити, скрюченный прах летнего травяного естества.

– В такую-то непогодь! Неделю – неделю дождик обложной, снег вторые сутки, как заняться могло, если мокрое? – не ощущая холода, металась босая и растелешенная Хомутиха, похожая на расплывшуюся квашню. – Спасайте добро, люди мои, ить летит по ветру, переметнется на крышу! Не стойте, ради Бога, как истуканы, детьми прошу.

– Подь в избу, чем ты-то поможешь, когда мужикам непосильно. Босая, свалишься завтра, ни стог, ни коровенка станут не нужными, – сердобольно шумели на пожилую женщину.

Бесился привольно огненный молох, насмехался над людской немощью. Хомутиху кололо, она безутешно плакала.

Старый Хомутов пришкандыбал. Обошел пожарище на расстоянии, сплюнул досадливо:

– Переночевали! Какой был запас. Опять, видно, придется на ферме промышлять. – Пристукнув батожком, заорал в бешенстве на жену: – Не вой, избу не достанет. Иди лучше обуйся, сляжешь, на чем в больницу везти.

Набежал расхристаный спросонку, лохматый Савелий Игнатьевич, вырвав из прясла жердь, с разгону полез в огонь.

– Эй, осмались, молодожен волосатый! – озоровали бабоньки, уже перестав переживать за погибшее сено и босую Хомутиху; в России где смех, там надежда и великая сила устойчивости. – Куда понесло, проказа черная!

– А страшен-то, батюшки! Прям, диво пучеглазое.

– Кому как, а ей, может, ниче, в самый раз на вдовьей перине... Варьке-то! Ей в самый раз и под завязку, – хохотнула игриво Камышиха.

– Ты погляди на это «ниче» как следует, пройда! Чистый цыган, зубы только блестят.  
– Ой, ой, поменьше завидууй и своево заведи, на чужих не косись! – озоровала Камышиха.  
– Дак зубы и есть!  
– А че ише че у него должно взблескивать, кроме лошадиных зубов!  
– Да уж должно че-нибудь.  
– Как у мерина, че ли?  
– Э-э, разошлись! Елька, Катюха, дети кругом.  
– Ой, батюшки, бородища никак трещит! – охнула Камышиха. – Сторишь, чучело ока-  
янное, для Варьки хоть поберегись. Отступай скорее!.. Савка! Савка!.. Савка, дьявол попере-  
ный, ково тут спасать!

Савелий Игнатьевич, обмахнув ладонью искрящуюся бороду, сусмешничал:

– Куда мне с нею теперь, ково соблазнять! Гори, язва, скорей, – шпынал стог азартно  
жердиной, – а то на работу седне не собраться.

Еще дальше отпрянула толпа. Незамеченные никем школьники Ленька с Катькой Друж-  
киной отшатнулись. Зарод оседал, сыпались сверху серая труха, горячий пепел.

– Страшно как, Лень... Да когда Меланья по-разному кликушествует... А ты не боишься?

– Не говори, что я приходил. Пусть не знают.

– Куда, ну куда ты, Лень!

– На кудыкину гору.

Катька долго бежала рядом:

– Глупо же, Леня! У нее своя жизнь, какая есть, у тебя своя. Вот и все.

Проезжая часть дороги, развороченная телегами, машинами, тракторами, была похожа  
на корыто с жирным, густо замешанным месивом. Большое прямоугольное корыто под серой  
колышущейся мездрой. Холодная сырость оседала на разгоряченное лицо, хотелось мрака,  
уединения, но перед глазами шпынал зарод и дико скалился огромный, волосатый, черный.

– Лень, – ловила за руку Катька, – может, к лучшему, если серьезно? У них, говорят, по-  
серьезному.

– Отстань, сказано... Если не понимаешь...

– Сам ты ничего не понимаешь, – поджав толстые губы, Катька остановилась, подумав,  
крикнула почему-то мстительно, зло: – И не понимаешь, не понимаешь. Балдой был, балдой  
длинноногой остался...

Тупая боль разламывала голову. Ее невозможно было ни запрокинуть, чтобы стряхнуть  
навалившуюся тяжесть стыда, ни повернуть в сторону Катьки. «Черный, кудрявый! Черный,  
кудрявый! – ухала, выскользнув из холодного небытия, куцая мысль. – Так тебе надо, что чер-  
ный. Так и надо, только черного не хватало...»

Со двора Кузьмы Остроухова выползала машина со скарбом. Покидал родовое гнездо  
Кузьма-пастух, надоело на отшибе жить. Ближайшие соседи – семейство Илюхи Плохо-лежит –  
Остроуховых провожали. В полном составе: дед, бабка, сноха, трое ребятишек. Стояли на обо-  
чине. Сам Илюха носился по двору. Кадушку старую выкатнул на снежную мякоть, проследив,  
где остановится, подобрал колун без ручки, носком растоптанного кирзача подпихнул к плетню  
вилы-тройчатки. Схватив приставленное к столбику коромысло, кинулся за Кузьмой:

– Коромыслище, Кузьма! Че добром разбрасываишься?

Кузьма крут в плечах, голова вдавлена в тулово, руки короткие, но ухватистые, как  
клешни. Цапнулся за борт – крюки запорные лязгнули, оскальзываясь, полез в кузов.

– Катись, Кузьма, желаем денежной жисти, – сипел Илюха, прикрываясь от ветра красной  
ладошкой.

– Хуже не будет, – хорохорился на узлах Кузьма.

Илюха новое узрел под стрехой, рванулся, но рассудив, что забытое хозяином никуда  
теперь не уйдет, остудил пары.

– Дак сообщчи – устроишься... Это, гля, возьми все ж, – совал Кузьме коромысло.

Догорел зарод – ворох черного пепла. Хомутов так и остался в одиночестве, пока не пришла старуха и не попробовала сдвинуть с места.

– Будь помоложе... Не осилю с радикулитом, нонче не прокормить, сдавать придется корову.

Хомутиха беззвучно плакала.

Металась Нюрка по дворам, поднимая живых и мертвых на силосные ямы, набежала на Илюхин выводок:

– Где ваш Плохо-лежит? Несись черт те куда, сами никогда в контору не заглянут.

Бабка – свеча восковая – полезла грудью щуплой на Нюрку:

– Язык бы у тя отсох, подстилка облеванная! Какой он те, шалаве, Плохо-лежит, имя нетуть!

Рассыльной и уборщице в одном лице на старушечий бзык наплевать, заметила Илюху, заорала оглашенно:

– Тебя команды управляющего не касаются? Вся деревня на ногах, а оне притаились тут, как тараканы. Дуй в контору во весь мах!

– Вона-а! – хихикнул Кузьма, отпихивая ногой коромысло. – Была деревней. Токо до войны. Была, да сплыла, растрясли-раструсили. Вон, последним зародом у Хомутова седне пыхнула. Эх, люди, таку землицу – без деревенок! Че же у вас за мозги?

– А хто? Хто? – захлебнулась Нюрка обидой. – Погоди-ии! Надумаешь вернуться, погоди, Изотыч те вернется. В ножки падешь, как время придет...

Снег повалил крупными хлопьями. Бежал Нюркин крик по заулкам, взбаламучивая утреннюю тишь, вновь после короткого пожара объявшаую растревоженное живое.

Данилка прислушался, вяло отодвинув кувшин, стаканы, объявил Трофиму:

– Подводим черту под нынешними итогами, Трофим, перерыв с перекурром. Опосля, время зимой под завязку.

– Нас не задело, – равнодушно гундит Бубнов, запуская в рыжие патлы крупную пятерню; он в таком состоянии, когда неподвижное созерцание непонятного и беспокойного приятней любой прочей охоты. – Закрывали бы вовремя... силос у них. Когда на охоту... тогда только.

Посидев минутку в тяжелом оцепенении, Данилка вытолкнул новую команду:

– Пошли-пошли. Как не касается, за такое рассержусь.

– Давай, – неохотно бубнит Бубнов, – сердитых я давно не видел.

Накинув старый бушлат и подождав, когда оденется медлительный Трофим, Данилка похрахтел за дверью кладовки, извлек лопаты:

– Выбирай. Чтоб к тебе зазря не тащиться.

Шли вдоль заборов мужики и парни, бабы с девками. Краснощекые, шумные, озоруя снежками.

Почти у каждой подворотни белое страшилище под старым ведром, кастрюлей или корзиной. С огромными чернильными глазищами. Вместо носа – морковка.

Двухвершковые мужички-паучки гомонили крикливо, катая огромные колобахи – будущих снежных баб – пихались, визжали.

Посреди улки в облезлом треухе Паршук. Семенил остороженько, словно боялся поскользнуться.

Тоже с лопаткой на ущербном плечике.

– Ха-ха! Дедко, хмырь контуженый, отгулял, что ли? Али вытурили взашей молодожены? Гармошка-то где?

– Обчее дело! Обчее – быть святое, едрена мить!

– Бросалка не тяжела, подсобить?

– Ниче-е! – округлил иссохшие землистые губы старик, делая ротик маленькой дырочкой. – С ней я ровнее, робятки, бегите себе.

Савелий Игнатьевич распахнул калитку. Одет непривычно: собачьи унты, плотный полосатый свитер верблюжьей шерсти.

– Насморк подхватишь, борода!

– Испужал! Его Варюха не испужала.

– Эй, эй! Это че у тебя в руках, игрушка, че ли, Надькина! Ты грабаркой вооружайся, еслив мужик.

– Мужик – это хто?

– В кальсонах – мужик.

– Ну ладно, кальсоны ношу.

И не сердила людей внеурочная работа, не в ней пока суть. Перевернув и обиходив за лето закрепленную за отделением землю, они снова собрались вместе, в шумную толпу, им весело и приятно вновь оказаться вместе, перекинуться бездумным острым словечком. Жизнь приучила быть вместе, где все как на параде, весело, озорно, рядом ни горя, ни беды. А главное, что просит управляющий, в сравнении с перевороченным за лето и осень, такой-то горластой и дружной ораве лишь на раз плюнуть,

Держись, Изотыч, пим растоптанный!

Варвара вылетела, на бегу фуфайку натягивает.

– Не могу я, Савушка, как это – дома!

– Так – дома. Делов нету?

– Да когда их нету, всегда они есть! Так не усижу, привыкла с людьми.

– А Елька? Камышиха? – строг, величав Савелий Игнатьевич, полновластный хозяин своей и Варвариной судьбы.

Непривычны Варваре подобные заботы о ней, смущаясь, распевает с придыхом:

– Дак Е-еелька! На то она и Елена-Елечка!

Мужицкая гордость распирает Савелия Игнатьевича. До одури в затуманенной головке и буйства воображения. Ему кажется все разрешимым, доступным; он могуч помыслами и желаниями, всемогущ, как всемогуща мать-природа, которая и породила придавившие избы тяжелые снеговые тучи, медленное, ворочающее кублом движение их, волнение людей, обеспокоенных за пределами буйством стихии. Мягкая искристая невесомость, осыпающая деревню, дружный топот поспешающих ног, непринужденное зубоскальство были близки и понятны, рождали странные чувства новой значимости в том, чем он теперь жил, вернувшись из небытия, и чем намерен жить. Острая тяжесть морозца охлаждала небо, грудь распирало щемяще-заботливым волнением о благополучии близкой, безмерно дорогой женщины, полузабытой добротой ко всем и всему, принявшим его в остроязыкое окружение.

Первоснежье – только предвестник зимы и крепких морозов. Дни первых снегов редко бывают суровы и как бы щадят селянина, стараясь не пугать наступающими холодами. Легко душе Савелия Игнатьевича, будто приятным холодком продувает затяжелевшую головку, наполненную зыбким туманом, усталость от затянувшихся ежедневных застолий улетучивается, прибавляя привычных будничных желаний. Все сейчас в самый раз, по плечу любая физическая работка. Рябило вокруг – дома не дома, улица не улица – расплылось по земле непотворимо сказочное, похожее на сон, где сплошное буйное гудение, озорные Варварины глаза и не менее шалая улыбка во весь рот.

И Варвара будто видит себя в странном сне, который она не пожелает прервать, как бы Савелий ни пытался запретить участвовать в топотящем массовом поспешании, устремленном во всеобщую радость спорой, дружной работы. Всё-всё! И наполненная народом гомонящая улица, и нежданно-негаданно павшая до срока зима. Нет страха ни перед чем, как бы оно

дальше ни повернулось – есть Савушка, верная, строгая опора. Есть общая радость, необходимая всем, и этого хватит с нее до самого вечера. На целый день хватит.

– Савушка! – она не просила его ни о чем, не было в ней такого желания просить и умолять, она будто застонала и задрожала каждой жилкой сильного, ядерного тела, не справляющегося с неожиданным счастьем и необъятной бабьей радостью. – С вами хочу. Где все – там и я... Со всеми.

– Варька, Варюха! Пристраивайся в шеренгу по два.

– Ну, Савушка! – И уловив долгожданную теплоту в его глазах, сорвалась, как девчонка, прощенная за немыслимую дерзость, побежала молодо, чуть не вприпрыжку.

Статный вороной конек Андриана Изотовича, размашисто вскидывая копыта, рвал мускулистой грудью вихрь непогоды. На колесах таратайки налипло в четверть, колеса почти не вертелись.

– Язви ее совсем, ден пять, чтобы управиться! Ну, ну! Пошевеливайся, дружина ударная. Варюха! Савелий!.. Пшел! А-аа!

В струнку вытянулся взмыленный конек – изрядный круг по бескрайним владениям успел совершить Маевский управляющий, пока Нюрка собирала людей, – гудела оголенная буйными ветрами степь, бесновалась белой завихренью, взбучивающей на радость деревенскую душу, словно бабью пуховую перину, стонали леса, утратившие летний наряд.

Деревня ты, неумытая деревенька, навсегда поселившаяся в детской крови в тридесятм начале и дергающая, дергающая живые нити судьбы, возвращая к истокам! Как еще рассказать о тебе и о том, что делала и сотворяешь с безответным русским мужиком, так и не познавшим со дня зарождения Света настоящего человеческого счастья! Где оно блудит в стороне от тихих затравяненных проселков, и каким должно быть на нашей грешной земле на сажень, если не больше, пропитанной потом и кровью? Почему с тобой, будто с падчерицей? Стыдно! Стыдно, а перемен не предвидится, для деревни хуже и хуже; на кладбищах изменения заметны, уже в гроб просто не ляжешь на пенсию, а в деревне...

– Пшел! Пшел, холеная морда!

Вот оно как в естестве и единстве с природой: нет одного, радостного всему существу, найдется другое. Душа сама ищет высокого воспарения, надеяться не на кого, что Андриану Изотовичу известно с тех пор, как глазенки впустили в себя этот яростный Свет вечного созидания. Вот и тешься, лелей, озоруй каждой кровинкой, насколько по силам.

Стелется Воронко, воеет-свистит в колках и падах, больно сечет лицо Андриана встречный мокрый снежок наступившей сибирской зимы, неизбежно суровой, как все предыдущие.

– Не отставай! Не отставай, орава!

Не справился управляющий, конек перешел на мах, черной стрелой прошил заснеженный осинник, проскочив нужный сверток, уперся в копну соломы. Андриан Изотович развернул его, погнал к силосным ямам наобум.

### 3

Силосный бугор под толстым слоем соломы, землей был укрыт лишь наполовину. Люди облепили его, как мураши. Разгребали снег, вскапывали обочину траншеи, кидали черные комья в желтое и белое.

Андриан Изотович недолго расхаживал главнопокрикивающим – бабы и мужики работали дружно, азартно – выхватив у Варвары штыковку, подвинул плечом Савелия Игнатьевича.

– А я? А я, Андриан Изотович? – металась у них за спиной Варвара.

Забросив несколько увесистых комьев на самый хребет силосного бугра, управляющий задрал на затылок шапку, распустил крючья дошки:

– Соломой займись... Вишь, наворочали.

– Так, а я? – не поняла его Варвара. – Куда я ее?

– Спали, – хмыкнул Андриан Изотович, – до седьмого пришествия будет лежать? Все одно за зиму сопреет.

Скинув дошку, которая сколь-то, сохраняя объем его тулова, еще стояла колом, ковырнул глубже, решительнее.

Какое-то время работали молча. В серое мутное небо летели и летели черные глыбы, разваливающиеся в полете. Варвара с доярками жгли солому. Пламя вздымалось высоко, плескалось тугим оранжевым крылом, гудело. Еще выше, отвесно почти, поднимался густой желтовато-сизый дым, из которого выступил вдруг Силантий Чернуха.

Отыскав Андриана Изотовича, подошел вплотную, сказал, приглушая голос:

– На пару слов тебя, Андриан.

– Говори, – не прерывая работы, отозвался Андриан Изотович.

– Да вот... Давай-ка в сторонку.

Голос Чернухи показался виноватым, и сердце управляющего сжалось знакомо-болезненно. За успехами Силантия в совхозе Андриан следил пристрастно, ревниво, считая, что с переездом Чернухи на первое отделение дела соседей пойдут намного удачнее. Правда, Силантий повел себя далеко не лучшим образом, долго не отличался теми достоинствами, которыми был замечен в Маевке. Развернулся он только на жатве, осенью, бросив пить, и вместе с радостью за хорошего, уважаемого мужика, который оступился по вполне объяснимой причине и сумел подняться, жила в нем с той поры не менее сильная досада: не нашел в себе силы, не сломил упрямство жены, свой-то собственный хлебушко не вернулся убирать. Теперь эта досада разом поднялась, взмутив душу, поджала к горлу кучу обидных слов, Андриан Изотович отшвырнул резко лопату. Заметив Хомутова в шеренге, сказал подчеркнуто громко, чего минуту назад и в мыслях не было:

– Ты вот что, Никодим. Напиши заявление на сено центнеров на двенадцать, я подпишу. – Величаво окинув Чернуху, добавил, как бы похваляясь этим неожиданным и противоправным решением: – Сено утресь сгорело, выручать надо мужика.

Хомутов опешил от подобной щедрости, топтался на соломе.

– Мать я забираю, – сказал Силантий. – Зима, уговорил.

– Христину? – зачем-то уточнил Андриан Изотович. – Тещу?

– Мать, – тверже повторил Силантий.

– Я тут при чем, забирай.

– Во-от!.. Вот, значит, спасибо. От всех. Этого разговора я больше всего... значит. – И заспешил: – Ты крепко стоишь, Андриан, тебя не свернут, в чем я завидую и... больше всего уважаю, а земля, она везде твердая, мне жалко, когда с ней по-дурачки, приходится браться.

– За что? – не понял или не захотел понять Андриан Изотович.

– Да как сказать; вроде на управляющего Николай Федорыч сватает... Но между нами пока... Так я за советом одновременно: как присоветуешь, соглашаться? Сумею – как считаешь?

Его вопрос прозвучал чисто риторически, Андриан Изотович видел, понимал и очень хорошо чувствовал состояние Чернухи, радость его души, получающей простор, большую свободу действий. Нерешительно, преодолевая в себе нечто противоречивое, он приобнял Силантия, потом, с неожиданной теплотой и хорошей завистью к его волнению, притиснул сильнее:

– Сумеешь. Хорошо, ты... на первое... Очень хорошо. Давай не подсаживать только друг дружку в погоне за начальственной похвальбой...

– В свете новых изменений наша Маевка... – Силантий нахмурился.

– О том, что будет, – властно перебил его Андриан Изотович, – твоя голова пусть не болит... Если о Маевке ты, кому под кем ходить. Мы свое выбрали. Станешь над нами, над Маевкой... – Скинув на звонкоголосых, усердно работающих «домочадцев» странно взблес-

нувшие глаза, словно гордясь их не показным усердием и послушанием, крикнул: – Данилка! Савелий Игнатьевич! Полагаюсь на вас, у меня намечаются новые проводы, с бабкой Христиной пойду попрощаюсь.

Они долго сидели за шатким столиком в низенькой бабкиной избенке, наполненной спертым душным воздухом, присущим лишь болезненной старости и очень древнему неухоженному жилищу, помнящему его с детской поры. Слушая в себе пробуждение тонко щемящего, достающего до печенок, Андриан Изотович ворочал головой, вглядывался в темные пустые углы, светлые прямоугольные пятна на давно невымытых бревенчатых стенах, и всюду что-то мерещилось. И в углах, несмотря на то, что в них было пусто, темно, и на пятнах, которые вдруг оживали знакомыми до мельчайших подробностей промкомбинатовскими портретами и фотографиями, где был и он... А еще был когда-то его строгий и своенравный родитель, за которым будто бы ухлестывала молодая деваха Христина Сахнова...

Разгоняя вязкое, скапливающееся в горле удушье, Андриан Изотович незаметно встряхивался, шевелил головой.

– Больше всего меня задевает, Андриан, – говорил напористо Силантий, – когда люди работают с оглядкой. В нашем крестьянском деле некогда оглядываться, не выгодно. Что получается... ну, мало ли, а оглянуся: выходит, в себя не веришь. В себя! Уже сбой. Возникает вопрос: а может ли руководитель сомневаться в себе? Ну вот, чтоб другие видели?

Сомнения Силантия были знакомы Грызлову, не раз и не два донимавшие самого, и ответ у него всегда напрашивался однозначный и твердый со времен идейных расхождений с отцом: никаких сомнений, только вперед к полной победе... Не совсем понимая, какой она должна быть и почему не сваливается на мужицкую голову, а ускользает, как заговоренная bestия, представая бедными жилищами вдов и покалеченных, неприкаянных бывших защитников родины, каторжной работой в животноводстве по колено в навозе, не уступающей демидовским рудникам, беспризорной детворой, отданной на откуп природе, не знающей родительской ласки, и он сказал, преодолевая сильное сопротивление:

– Может, Силантий. Должен... Хотя мы к другому привыкли, другим тебе хочется подражать, не себе вчерашнему. Нахрапистым и вроде бы волевым.

– И оглядываться? – смешался Силантий, не ожидавший такого ответа.

– Как хотел? Сзади они чьи, следы, не наши с тобой? Это с горячки – грудью. Но этим щас не возьмешь, кабы работа одна... Да кабы одна работа, я бы, не знаю, давай грудью. Иной раз не сама работа страшит, а шелест бумажный, говорильня вокруг. Шелестим, шелестим, лишь бы шелестелось заметней, а мужик поголовно спился! Надеялся, строил планы, добился Великой победы, и хренушки вам, опять кабала... Нет мужика, Силантий. Извели, как изводим деревни... что страшней. Намного страшней, без деревни России хана, хоть сплошь застрой университетами, где совесть не выращивают. Вот и не оглянись хотя бы для сравнения... Вот для чего! Та-а-ак! Люди, они тоже, им твой азарт – как мертвому баня. Они таких горячих управляющих, знаешь, сколько перевидали, а как поднимались на дойку бежать в четыре утра, так и поднимаются. Это не учитывать нельзя, если за большое дело берешься. Им! Ради них, даже не ради самой земли. Земля, она земля, а люди... Как же так оно повернулось, или прав был отец, утверждая, что той свободы, о которой долдонят новые агитаторы, никогда не бывать, не выгодно самим агитаторам?... Тебе мои мысли известны давно, я земле не изменник, но без тебя... Один на один... Не дожил человек свое на нашей совести. Не доел, не допил – опять. Хоть втайне, но думай, иначе последнюю совесть паутина оплетет, будешь, как не знаю кто. Пока у мужика все мы в долгу. Все, вот в чем беда. И долг этот растет, а признаться... Кто же будет выплачивать? История? Не возьмешь, теперь не война, мирная жизнь. Значит, пора отдавать начинать. Сполна. И они с тобой. А пожадничаешь, не дашь – сами возьмут. Втихомолку. Об этом ты думал горячей головой?

– Думал, – упрямо встряхнулся Силантий, – и соглашусь: для человека. Только не каждому давать, есть, у которых последнее не грех отобрать.

– Во-от! Во-от, хреновина с грязной морковиной! Уже было, я тоже так рассуждал, с отцом сходился, как в рукопашную. Не по-моему, не по-твоему – уже не наш?.. А-аа, не оглядываться! И куда ускочишь дальше Соловков? Не-ет, оглядываться, друг ситный! Каждый день, даже когда не хочется. И сравнивать. Это первое из первых.

– Сам как дальше планируешь? – помолчав, сухо спросил Чернуха. – Опять всякие разговоры по совхозу гуляют.

Андриан Изотович понял и скрытый намек на возможное подчинение Маевки первому отделению, и ту неловкость, которую испытывает при этом Силантий. Столь же сухо, небрежно ответил:

– Как люди. Я свое сделал, что смог... Со школой уладилось – это надежно. Теперь с пекарней завелся. Пробью! – Грохнул кулаком об стол. – Снова Настюху на старое место, она мастерица.

Странно подействовал его взрыв на Силантия.

– Лампочки бы на дамбу. Колесо закрутить... Просто, для красоты, – заговорил он расслабленно и проникновенно, немигуче пялясь в окно. – Я как приезжаю, взгляд сразу на дамбу.

– Иллюминации схотелось? – Андриан Изотович холодно прищурился. – В чью честь? Не в твою, что не забываешь?

Силантий не отозвался; подышав шумно, Андриан Изотович жестко заявил:

– У меня задача проще: пекарня, пилорама, животноводство укрепить и нос кое-кому утереть, для примера хотя бы. А то на мясо скоро в совхозе вовсе... Новую улку весной заложим – это важнее.

– Ну, мне пора, Андриан, – Силантий неловко приподнялся. – Много в тебе отчаянности, я всегда завидовал и опять подчеркну. Ха! В Москве каждый дом берегут, говорят, памятники, а мы деревнями бросаемся, словно гнилой картошкой.

– Ну-у, хоромина бывшего князя и конура бабки Христи!

– Не прикидывайся – конура! В конуру люди переселились не сами, когда-то строились. Из деревни соки сосут, а ей самой на лишнюю трату... Ни дорог, ни больниц, а город жиреет на наших горбах. Может, наш мужик с того запил, что все под запретом, и для деревни в первую очередь?

– У нас в гегемонах пролетариат, крестьянство – мелкая вошка, отсталая часть общества.

– Да ладно, не дразнись, мелкая вошка, а дух русский откуда?..

Силантий поднялся первым, пошел стремительно. Андриан Изотович слушал тяжкий вздох половиц, переживших свой век, и понимал, что больше не появится в этой окончательно брошенной человеком, навсегда опустевшей избе, в каждом углу которой на разные голоса кричит умирающее прошлое. И то, что в зыбках качалось на крюке, вбитом в матицу, и то, что вынесено в саване на кладбище. Много помнит вздыхающая надсадно углами ветхая избенка бабки Христины – памятник деревенской вечности, и прощает человеку, который век строил ее любовно, обихаживал и в одночасье опустошил.

Мужицкая изба – вечность миров и святость уклада. Прошлое, настоящее и будущее русской души, которая без нее нигде не получит прежнего крепкого стержня.

Ни-ко-гда!

Бабка сидела в машине. Бесчувственная, давно выплакавшая старушечьи слезы, уставшая беспокоиться о будущем и осуждать настоящее. Да и умела ли она когда-нибудь это вершить всей душой и разумом, не зная настоящей свободы, подобно ему и Чернухе? Андриан Изотович задержался было, порываясь что-то сказать, но только махнул рукой, словно вычеркнул окончательно старуху из жизни.

И не понимал, куда идет. Свет померк, только рой всюду копошащихся людинов, на которых он знай покрикивает, что-то грозно требует, чем-то недоволен. Среди них и бабка Христина. Семижильная Христя, которая всю войну и долго после войны работала на ферме скотницей, успевая столько, сколь не всегда посильно теперь четверым. Раньше времени обезножившая Христя, которая дважды в день вручную выгребала вилами из коровников навоз; в дождь и слякоть, в снег и мороз привозила ежедневно по пятьсот-шестьсот ведер воды – водопроводов-то в помине не было – и застудилась. Ласковая на обращение со скотиной Христюшка, которая, будучи уже больной, учила его распознавать в молоденькой телушке будущую коровью стать и ее коровье достоинство.

Грузный Силантий ворочался в сенцах, не решаясь прикрыть за собою дверь.

– К Савке щас подамся, пошлю договариваться с леспромхозовской братией, прояснить пора вопрос о лесе... Знаешь, иначе как-то все потекло – думал об этом?

– Теперь у всех по-другому течет, – неохотно шумнул Силантий. – Включая ребятишек.

– У твоих, которые выросли, да у моих – почти по-городскому, а мы почему не меняемся?

Почему ни я, ни ты не можем иначе, держимся черт знает за что?

– У нас включало не выключается, интересы такие. Наш воз увязан безнадежно.

– А я не хочу тащить его дальше – рассыпавшийся такой, – взорвался снова Андриан Изотович. – Хочу перебрать, перетрясти и связать заново. Ума не хватит? На область не хватит, а на одну Маевку – с присыпкой. Да я бы ее – в три улки с асфальтом. По двадцать соток вокруг каждой избы. По полгектара! Без всяких налогов для нашей глубинки! Перед отцами ведь стыдно! За веру, с которой они умирали, завещая нам верить в будущее. В будущее, не в прошлое, которое тоже с душком. Думаешь, от ума все делал, на полной и настоящей осознанности? А если по инерции больше, на полусознании, в подражании, кто брал на горло? Не-е-е, не в уступках, именно в подражании! Если мне раньше включаться на полное осознание было не то страшно, не то вовсе не нужно? Ну, не хочу ставить на самого себя и ответственность брать; хрен с ним, пусть идет, как идет, лишь бы не мордовали, как до войны, не забыл?.. Силантий, ведь это беда!.. Дети уже врассыпную... Ты отвечай, отвечай!

– Вопросов... Одни вопросы.

Жалобно скрипнула в последний, должно быть, разок под грузной хозяйской поступью широкая приступка, долго-долго раскачивался в опустевшей избенке на почернелой, крепкой двери тяжелый кованый крюк.

## Глава вторая

1

На силосных ямах работы хватило не на один день, но до праздников управились, и домой Савелий Игнатъевич возвращался не спеша. Увидев увязшую в снежном заносе машину Курдюмчика, приналег могучим плечом, подсобив удачно вытолкнуть, спросил, куда тот на ночь гляючи собрался. Ответ шофера, что за ребятней интернатовской надо смотаться, каникулы начинаются, обеспокоил – с Ленькой-то, старшим Варвариным, никак не налаживалось – и Савелий Игнатъевич помрачнел.

Следом за ним, насупленным, хмурым, в избу влетела Надька. Выронив портфель, махала пальчонками, красными, как гусиные лапки. На глазах выступили слезы.

– Мам! Ну, мам, посмотри!

– Спомнила о доме? – крикливо набросилась Варвара, подавая Савелию Игнатъевичу льняное полотенце. – Не руки обмороженные, маму, пожалуй, не спомнить.

– Сколь мы там поиграли? – хныкала жалобно Надька. – Мальчишки бабу лепили. Бо-о-ольшую! Катали-катали, даже не дождалась.

– Оно видно, кто катал – пальцы совсем отсохли. Маленько дак маленько! С «маленько» в голос не воют.

В гневе ее Савелию Игнатъевичу слышалось нечто большее, чем недовольство дочерью, и его неловкость усилилась. Заправив нательную рубаху в синие галифе, он всунул ноги в толстых шерстяных носках в калоши, переложил в тазу приготовленное в баню белье.

– Ага, кабы не больно, – из последних сил нажимала Надька на жалобные нотки. – Согреются – не будут выть.

– Согреются, конечно. Наревешься досыта, и согреются, куда им деваться?

– А че делать, чтобы быстрее? Скажи-ии. – Серенькие Надькины глазенки широко раскрыты, полны слез, она косилась в сторону Савелия Игнатъевича и как бы просила его соучастия. Ломота и мозжение в суставах невыносимы. Красные пальчики она сунула в рот, и подпрыгивала, подпрыгивала, точно ей поджаривали пятки. – Ну, че делать, мамка?

– Воды холодной в чашку почерпни.

– Зачем?

– Руки опустишь, и не будут ломить. Это зашпор они зашли.

– Кто это... зашпор?

– А вот не слышат ничего, мозжат в самих суставах – и есть зашпор. Говорится так.

Подхватив под мышку таз, Савелий Игнатъевич посторонился, пропуская Надьку к ведрам на лавке.

– Четверть-то кончилась? – спросил.

– Ага, распустили.

– Што же не хвасташь? Али нечем?

Подув на пальцы и опустив руки в холодную воду, Надька окинула его гордым взглядом:

– Ударница.

– Значит, без троек? – уточнил Савелий Игнатъевич.

– Ударница как ударница. Уж без троек. По рисованию чуть не вlepили, я орнаменты рисовать не люблю, а потом на четверку решились.

– С чего бы учительнице тебя жалеть? Где-то схитрила, што ль?

– Какой он! Будто ей не все равно, сколь в классе ударников. Она тоже заинтересована, если хочешь знать.

– Ну-у, тогда понятно! Выходит, ученик с учителем по рукам и ногам повязаны. – Задержав на пороге ногу и поймав беспокойный Варварин взгляд, как-то неопределенно произнес: – Курдюмчик уехал вроде.

– Уехал, – поняв его тайную мысль, эхом отозвалась Варвара.

– Так што думаешь?

– Не знаю. Прямо, хоть сама беги.

– Ждать будем, што остается, – тяжело сказал Савелий Игнатьевич и вывалился за порог.

Всем хорош первый снежок деревенскому жителю, утомленному осенней слякотью, – воздух поостыл, излишняя влага выпала инеем, дышится свободней – но приятного мало бить по нему машинный след. У Курдюмчика, о котором только что вспомнил Савелий Игнатьевич, не только руки, спина заныла, пока он добрался до центральной усадьбы. С радостным визгом набежали ребятишки. Выделяя Леньку как старшего, он говорил глухо:

– Мне грузиться еще в рабкоопе. Парочку гавриков, и часа через полтора буду готов.

Поколебавшись, Ленька сказал:

– Кого из них пошлешь – одна мелюзга. Сам помогу, если быстро... Правда, у меня задание, я остаюсь в интернете.

Точно раздумывая, верить или нет услышанному, Курдюмчик сдвинул на ухо потрепанную шапку с оторванным козырьком, гуднул парню в затылок:

– Ну-к, ладно, если надумал, поживи в сторонке... Поживи, осуждать не берусь.

На деревьях висели пышные клочья голубоватого снега. Оранжевое солнце катилось по канаве, вдоль которой мальчишки торили лыжню. Хрустящие звуки шагов и мягкий шелест лыж уносились в белую березово-синюю даль, истаивали в розовых лучах заката, и что-то столь же тревожное истаивало будто в старом шофере. Машина под брезентом – ее звали «хозяйкой» – стояла во дворе рабкоопа. Они поднимали в кузов тяжелые ящики, Курдюмчик пытался рассказать что-то веселое, но у него не получалось. Забросив последний ящик и присев под навесом из горбылей, пахнущих свежей смолой, он вытер ладошкой влажную лысину, посреди которой торчала бородавка с пучком седых волос, хотя остальная голова была каштановая и сединой нетронутая.

Курдюмчик закурил, протянул пачку. Ленька несмело взял. Оберегая ладошками пламя спички, оттопырив губы и щура глаз, Курдюмчик наблюдал насмешливо.

Ленька затянулся и закашлял; вытерев глаза, не глядя на шофера, бросил с вызовом:

– Ну что усмешничать, если не курил еще сроду! Ты бы лучше... Что она там делает, дядь Юра?

Курдюмчику понравилось откровение парня, как удовлетворило и волнение за мать, но поднялась вдруг горечь с обидой на собственных детей, которых разнесло по весям. Особенно на младшего, Веньку, главную его надежду.

– А что такого, ничего хитрого, самое житейское, – подавляя невольную горечь, сказал он просто, буднично, и завозился на ящике, положил на колени мазутные руки в шрамах, со следами старых ожогов.

И Ленька словно увидел его жарким июльским полуднем на поле, по пояс оголенным. Стоя одной ногой на подножке, другой газуя, умудряясь вести машину и видеть их с Венькой на верхотуре, Курдюмчик покрикивал: «Трамбуй, на борта свешивай, на борта, других машин пока нет!» Его глянцевиная, болезненно-сизая кожа морщилась на солнцепеке, как пленка топленого молока от легкого дуновения; на самого танкиста, изуродованного страшным огнем, боязливо было глядеть...

Что-то заставило сжаться, потупить глаза, приглушить запальчивую ярость, Ленька пробурчал:

– Плохо мне, дядь Юр... Стыдно... Мать все же.

– Смирная она у тебя, – сказал шофер глуше. – Мужика, язви ты, его тоже удержать – наука. Одного лаской, другого алиментами, третьего... Мужик, он пакостливая натура с рожденья. Хотя... – Подумав о чем-то своем, что не обязательно знать парню, Курдюмчик хмыкнул, словно сделал важное открытие, и не досказал.

– Скажете тоже – держать! Вас, к примеру. Удержишь в самый раз.

– Уши твои кислые, а как, если не так! – искренне удивился шофер. – Держа-аать! Всегда и постоянно.

– А вы сразу поддались! – Ленька усмехнулся.

– Так это... Ну, крику-то возле меня много, соглашусь, нервишки ни к черту. Так и только, хоть закричись, моя «тетя-мотя» на такой оборот не очень податлива. Она... А то бы! – И, точно гордясь многотерпением жены, добавил в порыве откровения: – Пру домой – пар из ушей, а прибежал да наорался, как перед пустым чугуном, и... Во-от, смело! А твоя-то смиренна на этот щет, нету в ней, чтоб... Тыр-пыр и заглохла.

– Так вот, зачем же? – с новой обидой произнес Ленька. – Сколь их водить, если не удержишь? На зиму, да?

– Не суди с бухты-барахты, не суди! Не дави на пятки, сам на вылете. Школу добьешь и соловей-пташечка, смылся, на ты надежа как на ежа, а ей сорока, поди, нету. Нет же сорока?

– Тридцать восьмой.

Курдюмчик и голову запрокинул, заранее торжествуя победу:

– Всево-о-о! Ну-у-у, об чем разговор заводите! Тридцать-то восемь – как без мужчины? Женский пол, он без нашего брата никто, обсевок, фрукт сушеный. Уж по ставням на избенке видать, где мужик на хозяйстве, где баба саврасая... А с другого боку? Мужик? Мужик. Хлопотно бывает, не спорю, покурлесить маленько любим. Родной отец, дак незаметно, это я тут понимаю тебя, он свой, привычно сызмальства, а к чужому-то, к отчиму, притерпеться сумеи.

Курдюмчик смахнул с бровей налипший снежок, расправил плечи – понравилось, что для родного отца у детей поблажка должна быть, как нечто само собой разумеющееся, – и уж не удержался, чтобы не сказать и о детях, расставить для этого несмышлениша на нужные места с мужицкой обстоятельностью:

– Не-е, я не заступаюсь, то подумаешь, что заступаюсь, мне он человек незнамый, дак и с вами... Сегодня так, назавтре иначе, серьезности... Я троих вырастил, а сколь со мной? Митька? Стаська? Венька? Ни одного. И где? Вот где они, почему?... Ну, старшие давно смылись. Взрослые, семьями, какими-никакими, обзавелись, но жисти-то нет, грызутся как кошка с собакой – жисть, что ли?... Почему не здесь? – Серенькие колючие глаза его уплыли в подлобье, затаились в темноте, поблескивали белками. Сделав паузу и пошевелив деревенеющими губами, Курдюмчик пожаловался: – Венька, едрит вашу мякину, Венька, самый здоровый, бугай, можно сказать, цимментальской породы, в Славгороде в будильниках колупается! Ну как это, люди бегут – косятся: харя сидит ширше поросычьей! Руки – грабли, ноги – столбы телеграфные. Амбары за угол поднимать да картузы ради шутейства подкладывать, как в прошлом-то было. – Засопел, помял голову ладошками, напялил шапку. – Глянул, сердце зашпор зашло. Схватился было за волосья, а сдвинуть, где сдвинуть, танк было легче после перетяжки заводите. Тьфу ты, на работу такую, смехота, не работа. Стыдобища ведь. Ну, не в генералы, не в министры, не в инженеры даже, просто в люди-то порядочные. Ведь из деревни, жадность к работе должна быть от материнского молока... Не поеду. Ни в жисть, сиди там, пока грыжу не высидишь.

– Он учиться хотел. И вообще... город.

Курдюмчик ворчливо прокашлял:

– Выучился! Из будки собачьей на людей зыркать! За Танькой Савченковой погнался, не за городом. Суслик линялый, не понять, думает. Да за Танькой ухлестнул, уж безмозглые

кругом... Надейся на вас, расти, дожидайся родительской награды. Сами точно котятка слепошарые, а старших судите – мать опять не угодила. А если мы вас осудим?

Случилось невероятное, давним приятным сном из далекого детства возникло золотистое свечение тихой воды. Волнами тепла в груди, странно-зеленой в радужных разводьях глыбью, робкими словами благодарности явилась вдруг эта самая Танька. Болезненно желтая, длинноногая, вечно с перевязанным горлом. Ленька словно ушел на глубину, чтобы на радость ей перенырнуть реку. Пихался, пихался ногами об илистое дно, разгребал тугую взмутненную стену, рвал шелковисто-белые водоросли, похожие на Танькины волосы, и снова, как тогда, не смог осилить.

Вскочил, прогоняя видения:

– Все от меня или еще?

Курдюмчик истолковал его поспешность по-своему:

– Что, против шерсти погладили? Не понравилось? – Заворчал сердито: – Фыркало, дела у него! Гордость мучает ребячья, не дела. Может, она всю жизнь искала себе такого, ты в ее шкуре не сидел, чтобы отметки выставлять за поведение, сиротским куском ее не давился... Губошлепы капризные, не считаются, вишь ли, с их мнением! А сами вы много считаетесь с другими? А ты, когда семьей обзаведешься... Эх, ребятишки, ребятишки! Ума-то сколь нужно, чтобы хоть как-то прожить, хоть как-то владеть собой. Это же ведь... Да нет ничего, что сложнее...

## 2

Снег пошел сильнее и скоро валил сплошняком. Проводив машину с ребятами, вернувшись в интернат и плюхнувшись на постель, Ленька долго лежал, уставившись в потолок. Стемнело, но свет включать не хотелось, словно боялся встретиться с укористыми и болезненно-сочувствующими глазами Курдюмчика.

Кто прав, кто не прав, но мать остается матерью, и нормальные люди всегда относятся к ней по-нормальному, шофер лишнего не придумал...

На лыжи он встал уже в сумерках, решив сделать кружок вокруг стадиона, и разошелся, проскочил средний в три километра, выскочи на «десятку» скоро скатился глубоким оврагом в лес. Шел резко, сильно налегая на палки, пока не взмок, и не сбилось дбыхание. Среди огромных сосен-вековух, в затишье, остановился в холодном созерцании осыпанных снегом деревьев, чего-то будто ожидая... может быть, столь же нечаянной встречи с Танькой... которой когда кувшин рвал у плотины, а Курдюмчик напомнил...

Тело знобило, а Танька не шла. И чем дольше она не шла, тем заметнее волновались в нем сокровенные мысли. Ознобная дрожь охватил разом, до неприятного содрогания во взмокшем теле, аж зубы заговорили. Чтобы согреться, он побежал вновь напористо, срезав петлю и, завершив обычный круг, оказался на школьном стадионе.

В интернате было непривычно тихо, пустынно. Вздыхали старые половицы, стылая темь лезла в окна. Скреблась о стену озябшая акация, словно настойчиво просилась в тепло. Пищало и грызло плинтус в запечье голодное мышинное полчище. Сыпались и сыпались на окна пушистые белые звезды, и будто спешили похоронить навсегда под этим пушисто-белым, как пена, холодным, улицу, избу, его, утомленного непривычной слабостью, одинокого.

– Ну и не надо, ну и не надо. Вообще, если на то пошло, ничего не надо, – говорил он, едва шевеля странно затвердевающими губами, не понимая толком, о чем говорит, кому, и что происходит.

Березовые дрова горели ровно. Пламя лизало кирпичи голландки, выхватывая из темноты белые изголовья кроватей. Блики вызвали раздражение, он подвинулся к огню, но стало жарко лицу, жгло лоб.

Среди мыслей о матери, доме, Курдюмчике и ребятах навязчиво появлялось нечто, неуловимо текущее в глубине сознания, тревожило, как слабые разряды тока. Когда они проходили через него, тело не то пронизывало жарким скоротечным волнением, не то бросало в дрожь и мелкую лихорадку. Знобило.

Что-то будто бы вдруг шевельнулось в бушующем пламени печи, земля вздрогнула от раскатов далекого грома, дверь в избу словно бы распахнулась, через порог повалил клубами стылый воздух. Кто-то уже кричал, корчился, бился в истерике на полу, звенели разбитые стекла... И неожиданным призраком появился Симаков...

Сначала он обозначился не совсем четко, размытым пятном. Вроде бы поманил многообещающе и пропал. Потом снова возник. Близко. Вынырнув из темного угла. Немигуче уставился. Но не как на сына, а точно на человека, с которым находится в давней и мучительной, изрядно заколотившейся ссоре...

«Леня! Леня! Посмотри-ка, ботиночки я купила. Ну, как игрушки! Да коричневенькие, аккуратненькие насколь!»

Мать была ласковая – сердце обмирало, и он встрепенулся, способный выслушать ее и готовый простить что угодно.

«Што, против шерсти погладили, не понравилось? А сами вырастите?»

«Съешь, съешь! Вкусненько, с маслицем! Вкусненькое, мягонькое, безъязыкий съест. Уплетешь все, справный станешь, как в огородчике кадушка, да сильный, будто медведушко, царь лесной...»

И ремень стоном исходит.

Ременьюка стонет, что про спину говорить. Слезами обливается мать, а знай, полосует, обхаживает, чтобы запомнил покрепче, что следует за проказой и шалостью.

Хорошо, боли хоть нет, можно терпеть...

Нет боли в памяти. С чего, какая может быть боль на прогневившуюся материну руку? Да кто бы еще, чья душа стерпит бесконечные мальчишеские проделки! За одну из десятка и бывает расплата. Лупи, мама, три шкуры можешь спустить!

Жарко-жарко и холодно-холодно. Жара – сверху, как плита. На тело с ног до головы, на руки, лицо. В глубине, в душе и под сердцем, холод расширяющимся клином.

Начинает звенеть в голове и больно в глазах.

«Температура, что ли? В лесу посидел, горячий-то».

Ленька пошевелился и снова услышал раскаты грома. Да такие, что задрезжали окна. Опять Симаков...

Но уже со спины, удаляющийся.

Походка у Симакова грузная, шаги слышались долго-долго, словно шел он бесконечным коридором, давая возможность ему, его сыну, окликнуть и спросить: «Неужели тебе безразлично, как мы живем?»

Симаков уходил, опустив плечи, пригнув голову.

Высокий, сухощавый, неуловимо близкий осознанием, что отец, но холодный, бездушный.

Раскачивалась земля, виляла почему-то улица, плясали избы.

Чего тебе не жилось с нами, Симаков?

Мысли о Симакове тоже были непрочными, рвались, как гнилые нитки. В душе теснилась пустота, словно Симаков что-то походя вычерпнул из нее. Хотелось разозлиться, а на кого – непонятно.

И на мать уже нет злобы, будто Симаков и ее нечаянно прихватил.

Береста сворачивалась, чернела. С нее капала горящая смолка. Леня закрыл поддувало, и пламя в голландке сникло. Съежились тени, мечущиеся на потолке и стенах.

Из темного угла тянуло зыбкой стынью. Дрожь сменилась горячечным жаром и снова дрожью, ознобом, нервно стучали зубы.

Близко за окном истошно выла увязшая в грязюке машина. Звуки были болезненно сверлящие.

«Да что же там делают?» – подумал он с негодованием о шофере и прильнул к стеклу.

Причудливо кружил снег. Мерещилось, что его густо и ровно разбрасывают уличные светильники. Грузенная сеном машина яростно рылась колесами в глубокой колее за забором. Возвращаясь из клуба, шумели парни и девчата. Улицей стлался дымок, парила, не желая околевать, жидкая мешанина дороги. Струящееся тепло голландки ложилось мутью на окно и скапывалось узкими ручейками. Боковина рамы была мокрая, склизкая, холодила висок, щеку, нагоняя приятную забывчивость.

Но кто-то будто толкнул, он вздрогнул и обернулся.

Мигала горячо многоглазая печь, а рядом стоял неповоротливо громадный незнакомец, ничем не уступая в черноте круглой голландке. Скалился шало, похоже на пьяного Иннокентия Пластунова.

Ленька вскрикнул, виденье, громко захохотав, исчезло. Головешки опали, сыпнулось через отверстия в дверке мелкими, гаснущими на лету искрами... Такие же искры рассыпались у него в глазах. Смотреть под ноги страшно, потому что стоял он высоко-высоко над обрывом, с которого вот-вот сорвет ревушим вокруг стонущим ветром, и куда он полетит, обо что ударится, никого не взволнует и не затронет.

С оглушительным треском вылетел из печи малиновый уголек. Шипел на сыром полу. Ленька придавил его носком ботинка, повалился на ближнюю кровать и словно упал на этот сырой шипящий пол, на горячие угли.

...Ровно, но не так густо, падал снег и в последующие дни недели. Ленька лежал в нетопленной комнате, равнодушно пялился на засиженную мухами пузатую лампочку. Температура у него спала, но дышать и глотать было больно. Словно предчувствуя что-то, перед обедом он поднялся, подошел к окну и увидел мать.

Она почти бежала.

Тощая, узкоплечая. В серых подшитых валенках и белом пуховом платке. Старенькое длиннополое пальто ей, привыкшей бегать быстро, размашисто, мешало, она двигалась неловко, растопырив руки, точно падала.

У калитки, где намело сугроб и не было следов, она остановилась, прижала к груди рукавички, заозиралась. Леньке показалось, что на глазах у нее слезы.

Высочив на угол барака, смутившись поспешности и чего-то еще, сердито буркнул:

– Че приехала?

– Сынок! – обрадованно вскрикнула Варвара, рванулась через сугроб, проваливаясь, с трудом вытаскивая валенки.

Воротца не открывались, она дергала, стучала раздосадовано кулаком.

– Да будь ты проклят совсем, снег этот! Да че же не чистит никто? Да как я, сынок!

Ленька помог ей протиснуться во двор. Она задыхалась, прикрывала рот варежкой:

– Бегу и не знаю: в интернате ты или еще где. Сообщил бы путем, что у тебя. Ох, Боже мой! Ну, прямо... А тут дорожка не чищена, во мне екнуло до самих пяток. Да где же искать?

В комнате было холодно, сумрачно, как холодно, безрадостно и тоскливо было в сознании. Ленька подвинул матери табуретку, сам присел на кровать.

– Дак че же нетоплено, Ленья? Че же никто на каникулах не прибирается? Длровишки хоть есть?

– Натаскаем – будут, не натаскаем... Да есть про запас, я приболел маленько, протплю, как ты уйдешь... Если хочешь, разденься, но угощать у меня нечем.

Мать распустила платок, поднеся к глазам уголок, заплакала:

– За что ты на меня, Леня? В чем провинилась я перед вами? Хуже других одеты, не кормлены? Все вам, копейки не жалею, будь больше – и больше бы отдала. С утра до ночи, с утра до ночи! Так что уж, о себе подумать грех? Старуха я, что ли, тебе?

Ленька кусал губы. Материны слезы, такое ее безысходное причитание доводилось слышать много раз – на слезы мать была слаба, находя в них единственную защиту от всех неудач, проверенную возможность излить и горечь, и боль, и стыд, время от времени наполняющих ее душу. Случалось, она слабела прямо на работе, и тогда люди, жалея, говорили: «Довести Варюху-то! Надо же, Варьку, до слез довели, бесстыжие». И ему становилось жалко ее, и сейчас стало неловко. Но гневилась, вызывала ярость рабская поза, жалобный, умоляющий голос...

Ну ладно, ну тяжело было их растить, не за это же на нее. В чем он виноват, что родился, почему она добивается только к себе жалости? А ему? А Наденьке? Не хочется, что ли? О себе ей подумать надо! Надо, кто спорит. А они, кто станет думать о них, выросших без отцовской строгости при гулящей матери?

Охватила волна новой досады: какая она, мать его, все же неудачная, не нужная никому всерьез. Крутнув головой, он засопел:

– Перестань... Со слезами явилась! Мне тоже – хоть реви. – Презирая стыд и бывшие недомолвки, закричал, тычась лицом в колени: – Стыдно мне, хоть понимаешь! Стыдно всех... такая мать!

Варвара дернулась, вытирая слезы, забормотала:

– Конечно, как не понимать, и я... Ну, дак теперь... Ну, Леня, ну, сынок, айда домой. Оно бы как по-другому, дак легче... Конечно, людям, им понять, что ли: бьется баба как рыба об лед, и бейся, нет у тебя ничего, и не надо. Всю жизнь одна и одна, всю жизнь только выглядываю, как мышка из норушки, да другим завидую: вона одну подружку ведут под ручку, другая принарядилась, а мне для ково наряжаться? Конечно! – Лицо ее синело, говорить сыну, о чем думала, было трудно, и она не договаривала, о чем думала, чем беспокоилась, что погнало в дальнюю дорогу, сказала с несвойственной скороговоркой: – Узнаешь его, Савелия Игнатьевича, может, понравится друг дружке. Уж вышло так, что и приехать было некогда. Да и что тебе он, это мне, все ж не одна к старости, а тебе так: ну, есть и ладно, нету – еще лучше. А мне, Наде? Наде тоже отца какого-никакого... С работы не сорвусь и не сорвусь: зерно подрабатывали, тут прибежали: на кормокухне в телятнике подсоби. Никак не сорвусь. Курдюмчик тоже: стыдно парню, взрослый он у тебя. Говорю, может, вместе поехать с Савелием? А он: уж нет, одной надо вначале. Да я... Леня, да разве решилась бы на такое сама – люди же присоветовали, он уже в леспромхоз собрался возвратиться! Боялась, ой, как боялась: чужой человек совсем. Но вроде культурный, разговоры разные промеж нас, мы с тобой и говорить о таком не умеем. Не бирюк, открытый, не сам по себе. Вся жизнь моя, говорит, вот смотри. Конечно, по-разному довелось и ему, много за сорок уж, дак ить... А он: хошь по-хорошему, как у людей заведено, принимай в дом, пока своего не построил. Да сын, буркочу, у меня взрослый, такое дело, что с ним стовориться не грех. Он свое: что же за сын, если о матери душа не болит?.. Потом, посуды-ка сам, двое вас у меня, богатствами не блещу, ну кому я с двумя сдалася? Вишь как, Леня, ну что, хоть ревмя реви до беспамятства, так и беспамятство было, бабы отхаживали. Изотыч: в обиду не дам, в голову не бери, сверну в бараний рог. Курдюмчиха с Камышихой не против... Таисия зачатила. Да Леня, сынок... И к тебе не ускочешь. Его в командировку гонят для пилорамы что-то добывать. Пилораму ставят у нас в осинничке, а он специалист, директор с управляющим из леспромхоза сманили, ну, торопят: решай. Взяла грех на душу.

Слова матери не трогали, скороговорка раздражала. Отторгали и несвойственная словоохотливость, и блеклые виноватящиеся губы, и фигура изломанная, с опущенной головой, и как говорила о своей доле, трудностях и помехах в устройстве маленького, но столь желанного семейного покоя. Но чем он может помочь? Уж не тем ли, что приедет как ни в чем не бывало и скажет новому приживальщику: «Здравствуй, это я, Ленька. Будем знакомы... кто ты там...»

– Леня, сыночек родимый! – Подняла Варвара полные слез глаза. – Взрослый, уж если ты не поймешь, кто же тогда поймет! Да что же я, врага впустила, посудика сам... Леня! Не рви ты мне душеньку, поедем.

В неплотно притворенную дверь вползал тонкой струйкой клубящийся мороз. Ленка встал, притворил дверь и сказал, упрямо хмурясь:

– Потом... как-нибудь. Сейчас не могу... Я потом, не сердись, мама.

Варвара плакала. Плакала беззвучно.

## Глава третья

1

Неделю потратив на обследование заснеженного хлама, представляющего пилораму, собрав в кучу что можно было собрать и выкопать, Савелий Игнатьевич зашел к директору. Кожилин встретил вроде бы тепло, но глаза оставались холодными.

– Что она даст? – спросил он с упором на последнее слово. – Что из нее можно выжать?

Двусмысленный намек показался совершенно неуместным, покорибил, но поскольку исходил от директора, человека, высоко стоящего и над ним, и над Андрианом Изотовичем, нужно было отвечать с многообещающей солидностью, пусть и туманной. Савелий Игнатьевич рассудил иначе.

– Много не обещаю, – сказал, вкладывая в ответ неприемлемость директорского двусмыслия, в котором подразумевались скорее не возможности машины-развалюхи, а его личные, способность заполучить лес, – но для Маевки послужит. Если раздобыть кое-что, окромя самого леса.

– Вы специалист, вам карты в руки, – все так же туманно и неопределенно произнес Кожилин.

– Тут, как я понимаю, не специалистом пока припахиват, а доставалой, – Савелий Игнатьевич вежливо улыбнулся, с любопытством присматриваясь к директору. – Но левый лесок у меня все ж будет на втором плане. Лишь для начала, Николай Федорыч, как обговорено. Чтoб это, значит... Но не люблю всяки подхлесты с понужанием.

Случившееся после переезда в Маевку, перевод ее разряд бригады сделало его внимательней и заинтересованней к новой жизни. Раньше в мыслях не было, что деревни могут быть нужными и ненужными, а когда слышал что-то о ненужных, переживших себя, эпоху, крестьянскую действительность, принимал ровно настолько, насколько убедительно говорилось. И совесть ничем не мучилась, пока Андриан Изотович не смешал за одну ночь необременительный бег его равнодушной мысли. По-прежнему мало понимая глубинное и не всякому глазу легко доступное течение своей новой жизни, меньше всего задумываясь, по какой причине одни селения держатся, крепнут, а другие захлебываются в нужде, исчезают с лица земли, он уловил главное – не все они исчезают охотно и лишь по собственной воле. В том, что происходило в Маевке, он увидел нечто большее, чем обычное мужицкое упрямство, не мог не восхититься способностью разных, иногда враждующих друг с другом людей быть одинаково твердыми, неуступчивыми, когда касалось деревенского будущего, и готов быть заодно с ними. Потому несколько тухнул, что его резкий ответ может дорого стоить непосредственно Маевке и управляющему-бригадиру.

Директор, оставаясь задумчивым, долго молчал. Складывалось впечатление, что он как бы на распутье и перед сложным выбором,

– Я понимаю, чтoб совхозу была прибавка, – заволновался Савелий Игнатьевич. – Ну-к разогнаться надо ище, не сразу. Уж когда разгонимся, наберем обороты, виднее станет.

– Скажите, как свежий человек, – Кожилин скрипнул креслом. – А сами вы? Ну, насчет Маевки. Стоит ли так убиваться, как Грызлов?

– Дак у каждого своя мерка, – не понимая, куда клонит директор, повернувший беседу в другое русло, нахмурился пилорамщик. – Мне всегда жалко таких... обиженных ни с того ни с сего. Любова. А тут цела деревня. Она в чем виновата, что нерадивые хозяева ухайдакали за годы войны. Другие стоят и хоть бы что.

– Деревня-деревенька, деревенька деревянная, – на лице Кожилина появилась усталость. – Который год думаю: что же это такое, в конце концов? Несуществующая точка на карте,

которую люди выбрали для своей жизни и деятельности, или условная административная единица, которую можно сохранить в производственных целях, а можно вмах сократить? Каким путем ей идти в то будущее, которое мы создаем – вот в чем вопрос, товарищ Ветлугин. А где ответ – я не знаю. До войны мыслей не было, на войне в голову полезло разное, как на другую планету попали. И вы с Грызловым его не дадите, и те, кто выше поставлены и бьются над ним.

– Есть ответ, – упрямо тряхнул головой патлатый пилорамщик, – не там ищите, Николай Федорыч. Пониже Грызлова маленько спуститесь, и в самый раз. Там он лежал и лежит всегда, ваш ответ.

Криво, нехорошо усмехаясь, Кожилин протянул какую-то бумажку:

– Давайте пониже опустимся. Читайте, что скажете?

В протянутом пилорамщику распоряжении райисполкома говорилось, что с нового года в совхозе окончательно вместо восьми отделений остается пять. Они перечислялись поименно, и Маевского вместе с тремя другими изгоями среди них уже не было.

– Фокус дак фокус! – растерялся Савелий Игнатьевич. – Выходит, смахнут?

– Заметьте, не только Маевки больше не станет. В одном нашем совхозе перестают существовать сразу три деревеньки в придачу к дюжине уже ликвидированных совершенно безболезненно, за что люди нам лишь благодарны. А в плане на следующий год новые укрупнения, так что и вам с маевской пилорамой работы прибавится, возьмите себе на заметку.

– Не знаю, кто кому благодарен, больно или нет, а по мне... Укрупнения полезны, наслышан, да собственными глазами радости особенной пока не увидел, в лесу, в глухомани, больше понятного. Умирают, кто готов умереть, я как-нибудь вместе с Грызловым.

Еще два месяца назад Савелий Игнатьевич предположить не мог, что способен беспокоиться судьбой какой-то малознакомой деревеньки. Умея довольствоваться тем немногим, чем одаривала его грубая бесхитростная жизнь на лесоучастке, он был настолько уверен в незыблемости собственных чувств и своего положения, тех радостей и огорчений, которые выпадали на его долю, что думать и размышлять о чем-то, какой-то другой более широкой и размашистой жизни не возникало потребности. И вдруг этот душевный испуг, растерянность и волнение, взорвавшая его буря противоречивых чувств, что будет с ним, Варварой, ее детьми. Что будет с Андрианом Изотовичем, мужиком, на его взгляд, в общем-то, неплохим? Как быть Курдомчику, Хомутовым, Данилке, никому не нужным теперь маевским старикам и старухам, износившей в прах и впадающей в кликушество Меланьей?

– Отчево тако разоренье деревне, Николай Федорыч? – невольно вырвалось у него, охваченного противоречиями. – Ни конца и ни края! Я дикарь дикарем, и то... Да рази можно так-ту силком через колено! В лесу робил: не виделось лишку, не слышалось, а тут – за голову впору хвататься, караул кричать. Напоперек да наперекосяк, не по-людски, а спрашивать не с ково.

– Ищите виноватых? – резко спросил Кожилин.

– Ищу, – запальчиво тряхнул патлами Савелий Игнатьевич. – Если есть неразумно дело – должен быть виноватый.

– Мы все повинны. До одного, И ты с Грызловым. В разной степени, но причастны и виноваты. От мужика до самого боженьки.

Савелий Игнатьевич усмехнулся в усы:

– Так если только, если силком разделить. А я не желаю лишне взваливать и за чужие грехи отдуваться, я строить приехал Маевку, не доколачивать.

– Тем лучше, – усмехнулся в свою очередь Кожилин. – Ставьте поживей пилораму, пока другие не спохватились, добывайте лес, стройтесь.

– И што будет? – не понял его Савелий Игнатьевич.

– Деревня! Не самостоятельной, лишь бригадой первого отделения, но ведь вам сейчас не это важнее? Так?

– Так, – эхом отозвался Савелий Игнатьевич, обуреваемый странными чувствами. Еще несколько минут назад он думал о Кожилине с полной уверенностью, что это самый обыкновенный руководитель-выглядыватель, руководитель-выжидалкин, что такой вот никогда не взвалит на себя лишнего, не сунет голову в слишком горячее и непробиваемое. Но сейчас перед ним сидел умудренный жизнью человек, битый неоднократно и довольно жестоко, не утративший молодого озорства, житейской изворотливости, собственного достоинства, сходного в чем-то едва уловимо с грызловским упрямством.

Обреченность Савелия Игнатьевича растаяла, не терпелось поскорей увидеть Андриана Изотовича, сказать много подбадривающих слов, заверить лишний раз, что с ним, самодуrom-упрямцем, и его деревенькой он, Савелий Ветлугин, будет до последнего колышка, если уж суждено такому случиться.

А касательно леса, то плевать он хотел, как думал вчера, к весне горы наволокет; к весне, кровь из носу, пилораму запустит-закрутит. Хотя никакая это не пилорама, гроб с музыкой, но запу-устит! Комплект в дюжину пил, начав с пяти-шести, хороший движок да электричество...

В ушах его пронзительно, упоенно запела каленая звонкая сталь. Толчками, толчками, как в лихорадке, выползало схваченное зажимами, располосованное на плахи бревно. Сыпались, летели по ветру опилки. Тонко, нисравнимо ни с чем пахло смолистым сосновым духом и терпким березовым...

## 2

Лишь в конце рабочего дня, выбив тракторные сани и упросив какого-то тракториста подтащить к месту погрузки, Савелий Игнатьевич плюхнулся на сиденье машины-хозяйки Курдюмчика, закрепленной на весь день, облегченно вздохнул:

– Домой. Гони в бригаду вашу, Маевску, Юрий.

Но Курдюмчика перевод отделения в разряд бригады серьезно выбил из размеренной колеи прочих событий, в нем бушевал и буянил несгораемый гнев.

Выслушав его суматошное, матерное негодование, Савелий Игнатьевич удивленно и непосредственно вскинулся:

– Так што, тебя-то с каково боку царапнуло? Да хрен с ними, не прибавили, не убавили, и наше при вас.

– Тебе, может, так, – не на шутку озлился шофер, едва не загнав машину в сугроб, – ты в ней еще ни одного колышка не вбил, а нам очень не так. Десять лет закрывают, нервы трепят, а закрыть не могу – это што, не издевательство? А чье, я хочу спросить? Тут принцип, не просто в открытую, как прошлой зимой, а исподтишка, с насмешками: мол, вы так, а мы иначе.

– Да кому! Кому! – вскидывал бороду Савелий Игнатьевич, не принимая подобное заявление всерьез.

– Хрену морковному с медальками во всю грудь! – злобно шерится Юрий. – Уже цеплять некуда, хоть на шею... или на ширинку. Как Ванька-дурачок с четвертой фермы, что не увидит – повышайте мне... Так это дурачек, а тут – генсек великой страны в детство впал, а рядом... Мало ему заморочки с пьянством, давай другую раскрутим канитель-шурудиловку.

– Не он начинал, оно лишь катится через пень и колоду, – рассуждает Савелий Игнатьевич. – Когда команда вперед, свернуть невозможно! В светлое будущее через укрупнение! Оно ведь проще некуда, нет деревни, и проблемы закончились, голову не надо ломать.

– Ну, што ни вождь на русской земле, то поводырть для слепых и убогих! – подхватывает Курдюмчик. – Што ни новая шишка на тощей заднице мужика, опять головная боль и чирей с кулак! Теперь по-западному, вишь ли, кому-то схотелось. Да русские мы, у нас деревня от деревни – на десяток шагов. Раздолье с дюжиной перелесков, озерко на озерке, карасики

для ребятни, земля под боком, хоть зимой, хоть летом. Я тоже побродил до войны по разным просторам, Среднюю Азию туда и сюда пешком прошел, посмотрелся.

– Согласен, – без раздумий подхватил Савелий Игнатьевич, удивленный мыслями шофера, почти схожими со своими. – Так и я понимаю... а взбеленился-то што?

– То, язви в кальсоны! То!.. Ево, заразу упрямую, батька не смог повернуть. Они с тово света все видят, скоро дождутся и спросят... Спросят, язви тебя, непонятливого.

– Ну, не знаю, не знаю, сложно ты...

– Сложно? Сложно заимкой жить, как дедам было привычней? Общинкой какой-никакой, похожей на земство? Да нам, еслив на заграничный манер, хуже смерти. Не управляющий или директор, не начальник, присланный сверху, что полвека вдальбливают насильно в башку, а местное самоуправление, и к нам не лезь, сами с усами. И вспашем-посеем, как надо... Продавать не умеем? Да с Петрухи-царя Россия такое заворачивала, нынешним во сне не приснится ни на трезвую, ни пьяную... Знаешь, что Андриан как-то показал? Ни за што не угадать... Старые деньги. Пук, четыремя пальцами в обжимку не обхватить. Откуда? Пол перестилал, и нашлось. От бати, больше откуда... Дак в чем главное? А в том, што смог скопить. С чево? А с тово, што прибыль водилась и жил бережливо. Доход, понятно. С гектаров? Разогнались, у ково они были, гектары – обычный надел... Да тягловой силой, паром пердячим, как у нас говорят. Сечешь, моховик? Русское и по-русскому, не по-татарски, как бы ево не ломали продвинутые мудрецы... Да умней мужика и сделанного за века никому не сделать, это потом колесо покатилося похлеще танка. А когда маховик да с шипами... Никому, вот я за што! В середке большая деревня... как matka, хорошая школа, церковь учебные центры для молодых. Куда ему ехать, што искать, когда есть под рукой. Вон мои охламоны... Словил мой настрой, чудо прокисшее? Да кабы только мой, на тыщу рядов обговорено, Изотыч сто раз заикался, а ему по соплям, по соплям, сколь раз из партии гнали взашей... Маниловщина и точка!.. Вот где она началось, нынешняя катавасия, знаешь? А-аа! И я не знаю. О нас там сильно задумались, таких недоструганных, что справа, что слева? Им как бы скорей установку исполнить, в коммунизм опаздываем.

Поискав глазами лучший проезд в месиве разбитой в прах дороги, Курдюмчик вывернул на заснеженный целик, подбавил газу. Послушно взыв, машина полезла, толкая буфером снег, завывая и пробуксовывая, но шофера ее надрывная работенка, на пределе железных возможностей, совершенно перестала волновать. Выбрав направление, он полностью отдался машине, уверенный, что тупорылый газончик не подведет, вывезет, как бы трудно ни пришлось его бешено крутящимся колесам.

– Такой маховик, разогнав на полную катушку, не вдруг остановишь, – говорил он ворчливо, когда машина снова выбралась на укатанную дорогу. – Слепая сила, Савелий, она дура, лишь бы крутиться-вертеться без передыху. Она – долго, если в разнос. А у нас больше силой да криком. Сказано: давай, и даем, не рассусоливая. Церкви поносили, а почти в каждой избенке божничка. Пройдись по деревне: ведь не изжили и не изжить. Не так?

Не испытывая бунта самолюбия, Савелий Игнатьевич не испытывал и его страхов, но въезжая в Маевку и словно по-новому увидев запущенной и раздерганной, с пустыми, умирающими избами, почувствовал, как заныли колени, точно перед скорой сменой погоды.

– Так что скажем ему? – громко и хрипло произнес он, думая о Грызлове. – Не мешат умно сказать. Поддержать как-то надо, а то ить опеть полезет на стену.

– Одни умные кругом, а Грызлов Андрианка дурак дураком, – досадливо буркнул шофер, переключая фары на дальний свет, выхвативший толпу у конторы. – Смотри, сколь собралось умных у крылечка! А в конторе? Пронюхали, теперь, как голодные собаки, на кого бы ни броситься, лишь бы скорей, пока зубы клацают и в глазах темнота. Все на ушах, теперь только поглядывай, покажут себя.

– А я знатных твоих крикунов в оглобли впрягу. Мерзлу землю ломачами долбить, столбы для электролинии ставить, сваи вколачивать под станину.

Машина уперлась в снежную бровку, Курдюмчик выключил свет, уронил голову на руль.

– Отшиковал за наш счет, был, да сплыл, – ликовала в толпе Настюха. – Посмотрим, как в бригадирах походитя, небось, перестанет голову задирать. Управля-яющий! Сверху вниз! Досмотрелся, засучивай рукава, как все. Бригадир, он – бригадир, в конторе за рацией не отсидишься.

– Что с ней, болезнь така прилипчива, или как понимать?

– С Васькой у нее туман. Ревнует она Ваську к твоей Варваре, – неохотно пояснил Курдюмчик и добавил: – Ну, а мне плохо, и вам того желаю. Носится, базонит, верещит, надрываясь... Порода такая – полоскать языком по ветру.

Отношение к Настюхиным вскрикиваниям было разное, находились охотники поддакнуть, но большинство женщин негодовало. Презрительно сплюнув, шевеля невнятно губами, пошла своей дорогой еще более тяжеловесная в досаде Хомутиха. Настюха загородила ей путь, подбоченилась:

– Наплюйся напоследок, а то думали, вся деревня у вас в руках, как путные поразбежались! Есть, которые своим умом живут, под вас, подлизливых, не подлаживаются.

– Отойди от меня, корова яловая, – вскипела нешуточно всегда уравновешенная и рассудительная Хомутиха. – Твоим боталом в коровниках вместо скребка ворочать, а ты людей честных скоблишь. Ой, Настя, недолго самой ободраться до крови. Поопасалась бы лишний раз Боженьку гневить.

И снова шагнула в сторону, лишь бы разминуться поскорее с женщиной, услаждающейся собственным торжеством.

– Я из безбожных, советской властью воспитана, какая есть, такой и останусь, – кричала Настюха. – Мне с ним не на трибунах выступать, на чистые работы не запрашивалась.

– Но и за какие попало сильно не хваталась. Уж если с кем из нас мучился Андриан Изотович, то с тобою в первую очередь. С тобо-оой!

– Да уж заступлюсь за себя, – поставив и другую руку на мощное бедро, вызывающе покачивала станом Настюха, – я вам не Варька.

Обретая привычную уравновешенность, Хомутиха обронила с достоинством:

– Это точно, мизинца Варькиного не стоишь, деревенское помело.

– Ниче, ниче, откняжили со своим Андрианкой!

На удивление оказавшаяся у конторы бабка Меланья от Настюхиного завывания потеряла на минуту способность говорить, замахала корявым суком:

– Што городишь-то, што напридумывала, лупошарая! Ево-то еслив, то наовсе хана! Прокляты! Нету спасенья!

– Это ему нету спасения, бабка, Андриану, а нам что? – смеялась довольнешенькая Настюха. – Тебе-то с клюкой с какого боку хана, знай побегивай да буровь, что попало. Ему-уу, бабка Меланья! С него давно пора последние позументы посдергивать да голым выставить на мороз. Кабы не битый хоть, а то по всем показателям ученый наворде. Мало, видно, не на пользу.

Меланья качала укоризненно головой, укутанной теплым платком:

– Окаянная! Подавишься однажды черной своей слюной. Сгинь!..

Зло хлопнув дверцей машины, пилорамщик полез сквозь пыхающие папироски на крыльцо, протолкался в кабинет Грызлова, полный табачного дыма, в сизых клубах которого гнусаво разорялся распанаханный и полупьяненький Пашкин. Грея у печи поясницу, бурчал невнятное, изредка перебивая Данилку, раздосадованный и багровый Хомутов. Мрачной вздыбленной горой откинулся на подоконник Бубнов. Размахивая руками, доказывали что-то друг другу Иван Дружкин и Тарзанка – электрик Васька Козин. Обстановка была горячая,

напряженная. Шлепнув о стол свернутой бумажкой, Савелий Игнатьевич рыкнул нарочито бодро и басовито:

– Так што, Андриан Изотович, на завтрева мне мужиков поболе. Десятка полтора могу взять для первого раза. А то лучше всех гамузом, с Бубновым вон во главе. Договорился с директором, поедем станину выковыривать из бетона.

Стихло. Только сап тяжелый и настороженный, готовый взорвать тишину, в клочья разнести все вокруг, включая самого пилорамщика, произнесшего непонятную речь. Трофим, пошевелив на подоконнике локтями, подобрался – не то готовясь к предстоящей работе ломать неподатливый бетон, в который замурована чугунная станина, не то, не находя в этом смысла, решительно отказаться. Данилка торопливо сглотнул сухой ком, мешающий дышать. Хомутов, позабыв о радикулите, откачнулся от печи.

Андриан Изотович вяло подтянул бумажку, долго, неуверенно разворачивал.

– Дак ново распоряженье об нас, – как можно спокойнее упродил его Савелий Игнатьевич. – Нащцет бригады. Николай Федорыч просил ознакомиться, если уж оно где-то принято.

– И только? – насмешливо выдавил Андриан Изотович, а глаза его посветлели, приоткрылись пошире.

И никто не понял, чем он оживился, отчего привоспрянул, а Савелий Игнатьевич понял, не зря готовил именно эту фразу небрежную о пилораме, возликовал в душе.

Нет, не ошибся он в Грызлове, крепок, дьявол!

– Ну-к, а што нам ище? – как бы подивился он вслух. – Како-то время бригадой походим... Ну, по карману маленько в окладе, дак тебя одново, не всех... То тебя раньше не били по энтому делу разными штрафами, стерпишь.

– Ну! Правильно, поп-расстрига! А я! – привскочил Данилка. – А нас когда обрезают, словно мусульманских татар!

Савелий Игнатьевич поднял руку с растопыренными пальцами, требуя тишины, и вокруг стихло, замолкли, включая Данилку, будто спотыкнувшегося на полуслове.

– Для нас, как я понимаю, ты был управляющим, им и остался, – снова опередил всех и прогудел напористо пилорамщик. – И Кожилин сказал, мол, мало ли што, а ваше останется при вас. Грызлов, говорит, у меня лучший управляющий, я ему хоть завтра любо друго отделение отдам. А... А еслив подымет Маевку, саму большу награду будут хлопотать.

Откуда выскочила шальная мысль о награде, он сам не понял. Трухнув было за поспешную трепотню в горячке, чуть отступил от стола и услышал за спиной голос Курдюмчика:

– Обидно, что не по-нашему, само собой, что где-то пока не сработало, как мы надеялись, но если пилораму все-таки отдают... И – управляющий, Савелий правильно. Управляющий! Для меня лично, Андриан Изотович, ты им только можешь быть. А вот они че посбирались, пока непонятно. На нервах схотелось поиграть? Дак Савка завтра даст досыта наиграться, кое-кому придется потужиться вовсю, позабудут надолго, где фляга с горячим.

Андриан Изотович откинулся на стену, расстегнув не спеша ворот рубахи, положил крепко сжатые кулаки на привезенное Савелием Игнатьевичем распоряжение. Не пристукнул, не придавил, только положил, но стол внутри, в самом себе, жалобно запротестовал, вызвав еще большее внимание разношерстной толпы к своенравному предводителю.

– Ладно, на сегодня с деревенским вопросом покончили. Кому бригадир, кому иначе, мне – бара бир. Ладно, Савелий Игнатьевич, мужиков сам выбери. Задачи стоят большие, чтобы на всю зиму.

И будто разом снял напряжение.

Расходились шумно, возбужденно. Данилка уже через минуту горласто восхвалял Грызлова на всю улицу:

– Вот кумекалка, как повернуть умеет! Все, паразит полосатый, голова он у нас, Тимофей!

Маевский скирдоправ смеялся громко, довольный вычурной мыслью.

3

Весь ноябрь свистело, постанывало, гудело. Северные ветры – степные дворники – срывали с полей и без того невеликий снежный покров. Пашня проступала комьями зяби, мелкими бороздами, в деревнях, лесах, придорожных канавах вспухали плотными наростами желто-грязные сугробы.

Крепчали, набирая дьявольскую силищу, сибирские трескучие морозы, не выдерживая их, рвалась, лопалась по ночам измордованная земля,

Дважды в интернате объявлялся Курдюмчик, привозил передачи. Не показывая виду, что интересуется домашними делами, Ленька ни о чем не расспрашивал, а сам Курдюмчик не навязывался с новостями. Лишь однажды сказал будто случайно: «Это ты правильно скумекал, че их раньше времени дергать. Тоже две измордованные души, так-ту, в покое, крепче срастутся. – Попинав колесо, добавил тверже и выношенной: – Ниче, ниче, Изотыч за Савку обеими руками схватился. Изотыча знаешь: и рад бы хто на дыбки, да у него упряжь надежная, не выпряжешься. Ниче, он им повадки не дает, но и ты не куражься сверх меры, невелик генерал».

Виду Ленька не подал, интересно или нет сообщение Курдюмчика, словно речь шла о безразличном для него человеке, не отозвался и на замечание в свой адрес.

Неожиданно в конце дня появился Хомутов. В кургузом полушубке, толсто замотанный в пояс. Стаскивая собачий малахай работы деда Паршука, пожаловался со вздохом:

– Замучился по больницам валяться, вот в районной довелось полежать, хотя и без толку. – Вынув из мешка два круга мороженого молока, окорок домашнего копчения, отваренную курицу, сказал, переминаясь: – Дак осталось, не домой обратно тащить, спомнил про тебя.

Замороженное молоко подтаивало на ладонях, окорок источал неистребимый запах соломенного дымка, по-осеннему густого, терпкого, возбуждающего аппетит, и Ленька впервые за зиму подумал о доме с полузабытой приятной теплотой, душевная муть, противящееся ранее поездке в деревню, начало рассеиваться. Знакомыми очертаниями проступила Надька. Заполотно неслась навстречу, готовясь броситься на шею и начать колотить его по спине кулачками. Мать, утираясь фартуком, замерла на воротах...

Недолго посидев, не сильно донимая расспросами, Хомутов заторопился, завязав мешок, нахлобучил малахай.

– Учись, сынок, руки у тебя золотые, к ним и голову положено умную. Учись на совесть, для себя, то некоторые...

Махнул в сердцах рукой, досадуя на своих отпрысков, не совсем удачных в учебе и жизни.

Уехал старый комбайнер Никодим Хомутов, наделив светлыми воспоминаниями о лете, заполошной работе в поле, доставлявшей и радость и неприятности, о добродушном заступнике Юрии Курдюмчике, матери и Наденьке, а на следующий день накатила оттепель. И стала устойчиво. Снег набух, сыро уминался. На карнизах – будто не декабрь, а март – повисли сосульки. Капало, шлепалось, на снегу росли желтовато-мутные ледяные столбцы. Крепенькие, пузатые, с массивными натеками у оснований.

Над березовой рощей, надсажено каркая, кружились невесть откуда взявшиеся вороны. Клены в школьном саду, где начиналась дальняя 10-километровая лыжня, упруго качали матово-красными прутьями. Было шумно, весело, лыжи старались заполучить даже учителя.

Половинная дистанция лишь разохотила на большее. Не слушая возражений Марка Анатольевича, Ленька все так же резво, размашисто-легко, пошел самым большим кругом в пятнадцать километров. Прилив свежих, неистоцимых сил, давно не посещавшая легкость и подвижность во всем взбодрившемся вдруг теле, взрывная страсть ожившей вдруг души

словно пьянили. Сумрак туманил взгляд, обещая какую-то новую радость, которой он долго ждал, сам отодвигая встречу с ней, и вот решил, наконец, с этим покончить. Хотелось не просто бежать, а нестись на полном напряжении, не давая поблажек. И он мчался сильным накалом на этом удивительно нужном ему пределе, как не бегал еще этой зимой. Но думал вовсе не о лыжне, не о результате, которого давно ждет от него Марк Анатольевич. Казалось, что он в деревне, дома, где под вечер всегда скапливается видимо-невидимо крестьянских дел. И уже не только знал, был уверен, что лихо управится с ними, поскольку очень хочется быстро управиться, а именно вечерняя работа в деревне всегда получается проворнее дневной и утренней. Удивляло не то, что желания души и тела снова слились, полнят его, взывая к известному: сделать, успеть – а то, скорее, что долго не навещали, лишив главной радости спешить, беспокоиться, волноваться. Ведь страсть к работе – не искусственное нечто, а обычная и нормальная деревенская жизнь, в которой всегда необходимо спешить, успевать, переигрывая то непогоду, то природу. Все, что вне этого первородного чувства, в том числе праздность, хандра, лентяйничанье, и есть неестественное. Можно ли представить бездельничающих Курдюмчика, Хомутова, того же Данилку, когда он стоит на скирде и покрывает на подающих тяжеленнейшие навильники сена, или самого Андриана Изотовича?

«Успеем, успеем», – говорил он будто всем сразу и сам не знал еще, что собирается успеть, куда спешит, не ощущая усталости.

Шепот упругих, мягко скользящих лыж бодрил, шаг оставался накатистым, широким. Лыжня уводила дальше и дальше в сумеречный лес, в чащобу, в глушь, где опушенные инеем деревья стояли недвижно и безмолвно. Лишь слева, над белыми вершинами берез, по-зимнему встемневших сосен было светло. Серое пухлое небо прямыми, как лучи, линиями расчерчивали серебристые провода высоковольтки. Ветерок вихрился прядями на кромке снежной ямы под опорой, приятно касался влажного лица, пышущей жаром шеи.

Мигнул огонек в таинственной глуши леса, в избе путевого обходчика, желтое пятно упало на прясло, на крохотные пушистые елочки. Усиленный лесом, докатился говор колес порожнего железнодорожного состава, спешащего в карьер. В желтом пятне оконного света мелькнула девочка в белой ушанке с короткими лыжами под мышкой. Она замерзла, поджатые ручонки ее болтались, как у тряпичной куклы и точь-в-точь... как у Наденьки.

Ленька засмеялся было, но хлынула неожиданная грусть, перехватившая дыхание. Мгновенно наполнив, сдавила. Неловко взмахнув палками, Ленька так же неловко, едва не упав, скатился с бугра и свернул на другую лыжню, убегающую в широкий просвет между деревьями.

В степи ветер был резче, мела поземка. Лыжи заскрипели тоненько и тягуче, стужалась ночь, а он шел и шел, помогая палками. Но уже нелегко и бездумно весело, как бежал час назад – лыжи словно потяжелели во тьме. Недавние радостные ощущения ужались и напряглись, душа вновь заняла тоскливо и обреченно, накатывали неожиданные картины.

«Тоже две разные души, может, скорее срastутся, не мешай пока», – задумчиво советовал Юрий Курдюмчик.

Хомутов бубнил будто бы просто, вовсе не осудительно для матери, но что было главным в его словах, Ленька не понимал. Зато весело и самодовольно расхаживал Андриан Изотович, никто не чурался матери, принявшей к себе нового мужика, заглядывали на огонек, чего не было ранее.

Одна только Настюха Симакова по-прежнему верещала заполошно на всю деревню и бесстыдно матюгалась...

Высыпали звезды. Холодные и далекие, сжавшиеся, подобно его душе от вечного холода. Но лучше было бы темно. Чтобы – словно на ощупь. Лыжи заскрипели громче. Нудно, с особой зимней надсадой стонали над головой высоковольтные провода. Косматая поземка хлесталась о лыжи, упруго давила на грудь, и ничего не оставалось в памяти теплого, кроме Наденьки.

«Наверное, сидит себе, кулема такая, над книжками, и не догадывается, кто к ней бежит... Конечно, к ней только, они – сами по себе... Причем тут они».

Линия электропередачи вывела к шоссе, перемахнув ее, ушла в глухую ночь. Ленька побежал накатанной дорогой, скользкой для лыж, и будто не чувствовал, как они брякают на уплотнившейся снежной тверди и разъезжаются, насколько трудно стало бежать.

«Конечно, узнать, как там у них, все-таки надо, нехорошо. На неделе можно было, когда ждать не ждут. Постоять неслышно в сенцах, вызвать Надьку... Задаривают, поди, это у таких на первом месте. Кабы не глупая была, а то не понимает ничего, лишь бы отпустили побегать на горку...»

Неспокойно совести, не хочется ей лишь черного, ищет робко компромисса: «Да если и заночевать придется – что такого. Поздно пришел, рано смылся, живите вы, если живется, против он, что ли. Не пейте, не шумите друг на дружку, всем будет более или менее».

Деревня насунулась непривычно сразу, показавшись мрачней, чем всегда. Черные крайние дома выглядели безжизненными, заброшенными. Копны сена на пригонах отбрасывали остроголовые длинные тени. С фермы несло знакомо-резкие кислые запахи силоса, прелого, изъеденного мышами зерна, не выветривших до конца летних запахов сена.

Скрипели сани на сеновале, брякали цепи в стойлах. Дробно и раскатисто ударил выстрел, коротко, на предсмертной ноте, тьякнула собака, очередная, по-всему, добыча деда Паршука.

Наваливаясь грудью на палки, Ленька провел пальцами по хрупким обмерзшим ресницам, и несколько посветлело, дома проступили четче.

Шумела детвора на ледяной горке, с грохотом и визгом гоня консервную банку. Бренькали коньки.

Минова летние загоны, Ленька безошибочно вышел задами на свой огород, утыканный щитами для задержания снега, чего раньше никогда у них не было. Хмыкнув озадаченно, он потрогал их, пошатал. Стояли крепко, мужская рука ставила.

Неужели гость ее зимний?

Вслуживается или в хозяева полез?

Изба смотрелась слепо, безглазо, в завалах сугробов. Лишь в ближнем окне отражались звезды.

«Что же огня не зажгли?.. Надька – понятно, ее дома еще может не быть, а они?»

Дышалось тяжело, будто весь выложился, пока, сняв лыжи, неся через огород, руки дрожали, но дверную скобу нашли безошибочно враз.

«Неужели смылся?.. Вот же стервец! Ну, а что было ждать?»

Замирая, дернул дверь. Закрыто, лишь глухо лязгнул крюк.

– Эй, кто там, откройте!

Дыхание остановилось само по себе, чтобы хоть что-нибудь услышать. Тихо-тихо было. Сердце не выдерживало мертвой тишины. Но – шаги частые, шлепают. Надюха! Сестренка!

Прижался губами к щелке, из которой текло щекотливое тепло и скапливалось комом в горле.

– На... Ты дома, Надька!

– А где еще? – сонно и непонимающе ответила Надька.

– Ну, дуреха, дома в такую рань!.. А те? – Он и не заметил, как перешел на шепот.

– Че вам, кого?

– Не базлай, тихо говори... Ну, те... мама?

Узнала Надька брата, заскреблась за дверью:

– Лень?! Ты, да, Лень!

– Я, я, не верещи... Вот соня, раскрючивайся давай поживее.

Распахнулась дверь, втянуло в душную мглу родного жилья, обволокло теплом и привычным духом.

– Ой!.. Ох!.. Какой ты, – вскрикивала Надька, оказавшись у него на груди.

Потрепав за волосы, Ленька прижался щекой к ее горячей и мягонькой щечке.

– Они что, спят?

– Нету никого, уехали.

Надькины руки не разжимаются. Ленька переступил порог с ней, обхватившей намертво его шею, включил свет, заморгал часто.

– Уехали? Куда уехали?

– Куды, куды! В сельсовет, регистрироваться. Он позавчера из командировки вернулся, вчерась всю ночь гуляли под Паршукову тальянку, а седне уехали.

– Так, значит, – с некоторым разочарованием произнес Ленька, – живет еще, не смылся?

– Куда?

– Куда другие смывались.

– Да он!.. Да ты с неба свалился?.. Он подарки привез. Мне шубку, но большая, до полу, вот было смеху. Ниче, на следующую зиму в самый раз будет, надену... Уж как надену!

– Шубку бы ей!

Надька не уловила насмешки брата, сказала хвастливо и радостно:

– Вот и шубку! А маме комбинашку. Тонюсенькая-яя, прям, в ладошках можно спрятать.

Ни у Камышихи, ни у Таисии такой нет, сами признались. – Она наморщила лобик, подбирая более веское слово, достойное этого фантастического, на ее взгляд, подарка, и выпалила: – Гладенькая-прегладенькая!

Ленька пыхнул зло:

– Много надо трудов – усладить вас таких? Тряпичницы!

Его кровать была выставлена в переднюю, где раньше стоял диван, и как только это бросилось в глаза, он выдавил сквозь зубы:

– Уже и кровать вышвырнули. Хотя бы дождались.

Непривычно смотрелось и в горнице. Чужие вещи всюду: пиджак и синие галифе на спинке стула, большущие сапоги у кровати, на столе под настенным зеркалом стопка сигарет, пепельница с окурками, на диване приоткрытый чемодан.

И запах чужой, насыщенный мужской терпкостью.

«Ага, диван к себе, не дурак!»

Надька показывала на стену:

– Это его родители на портрете: папа и мама. Все, говорит, мое богатство. А дядю Илью пришлось маленько подвинуть. Для красоты.

Между портретами белело прямоугольное пятно.

– Может, он для себя место уже приготовил?

В пятно ударились мокрая шапка. Брызги разлетелись.

– Ты че, Лень! – Глазенки у Надьки растерянные, короткие косички вспорхнули над ушами. – Че они тебе сделали, такие старенькие совсем?

– И ты! И ты! За шубку продалась. Как же, бежал к ней, точно заполошный.

Он выметнулся в сени, потом на улицу. Крепчающий мороз полоснул по разгоряченному лицу. Щипало глаза, крепление смерзлось, не расправлялось, и лыжи никак не надевались.

Из-за угла появилась мать и широкоплечий бородач. Веселые. Нараспашку.

Ленька отпрянул в сенцы – некуда было больше отступать – но его заметили.

– Господи, Савелий, да вот же он, дома, а мы всякое передумали за обратную дорогу. Леня! Леня!

Было темно, Надька шептала что-то и тянула в избу.

Савелий Игнатьевич ругнулся сердито, ступив мимо тропинки, ругнулся снова и уже тише, как бы между прочим, походя.

– Ты не очень, ты уж не круто, Савушка. Характер тоже поимей в виду... Господи! – Мать следом влетела в избу, обняла сына: – Пришел, миленький мой! А мы сколь часов прождали в интернате: и отужинали все, и отбой скоро – нету и нету. И никто ничего, воспитательница, или кто она там, как мымра какая, губки бантиком... Ну – не хочет видаться, прячется, ехать пора.

От матери пахло морозцем, вином, духами. Ленька отстранился:

– Надушилась она... невеста. Пляши от радости, я посмотрю.

Темные, словно наполненные ночной чернью, глаза Варвары расширились, лицо сморщилось.

– Леня... сынок! – потянулась она невольно к сыну красными, ошпаренными будто руками.

– Кровать им помешала! Да я сам спать бы с вами не стал... На стенку повешали всяких! Че же раньше не вешала никого? Всех подряд и развешай, будет как в музее.

Лицо Варвары перекошилось, дергались губы.

– Господи, кому они лишние, Леня! – растерянно защищала Варвара. – Мы же теперь по закону. Как люди.

– А у меня нет больше никаких законов, да? Я незаконный у тебя, да?.. Не-е, зря летом не умотал в Хабаровск! Надо было уехать, и живи, с кем хочешь.

#### 4

Савелий Игнатьевич грузно ввалился – половицы затрещали. Без шапки. Копна черных кудрей на голове, смоль вьючая. Брови – крылья вразлет, широкие. Волнами бородачица в четверть, путаниной. Лоб выпуклый на глаза нависает, блестит, без морщинок. Глаза, как неостывшие угли, острее цыганских, памятные Леньке, жаром пышут и насмешливы. Все грубовато-простое, надежно-крепкое, кроме странного носа с надрезанной будто маковкой.

«Ну и красавец! – ежась – холоден пронизывающий взгляд Савелия Игнатьевича, ноздри, как у быка, шевелились угрожающе – позлорадствовал Ленька. – Вот уж в самый раз».

Савелий Игнатьевич скинул не спеша короткую собачью дошку, повесил на крюк у двери, снял лохматую шапку, прошелся рукой по бороде и шевелюре, усы подбил привычно. После этой подготовки сказал утробно, словно из бочки:

– Ково-то не тово ты с ним, Варя, так у нас не пойдет. Он тебе не прокурор, а ты ему не ответчица. Ну-к, мил дружок, пожалуй к столу, поговорим по-мужицки.

Речь его была непривычна, слова звучали по-чужому, рождая новую неприязнь души. Ленька насупился, но к столу подсел, придвинув ногой табуретку. Савелий Игнатьевич опустился на лавку, поставил на угол столешницы жилистые волосатые кулаки, строго взглянул на Варвару. Невероятная сила и властность исходила от него, Варвара отдернулась от сына, отступила покорно к шестку. И Ленька вздрогнул, ощущая на спине бегущие мурашки.

Савелий Игнатьевич сказал внушающе строго:

– Теперь я тебе отчим. По закону и во всем остальном. Как уж так оно получилось у нас с твоей мамкой. Любить меня не неволю, не люби, и я к тебе после всево больших симпатий не имею, но жить нам не мешай, без того хватат... Вот... для начала. Есть што сказать, скажи, я послушаю, а кидаться на мать, дергать ее лишним – это штобы в последний раз. Конечно, вовремя не известили, тут наша вина. Моя... так. Уехать решишь – попробуй. Вот школу закончишь и вольному воля, не собака, штоб на цепи держать.

На этом смолк, рассматривая свои лежащие неподвижно кулаки.

Пришибленный резким, грубовато-тяжелым началом, Ленька молчал. Твердость, с которой говорил вновь испеченный отчим, остужала ярость, давила на плечи.

– Мать твоя мне по нраву, мне на всяки разговоры наплевать, я тоже... а пожить охота. Ладно, помыкались, может, ище порадуем друг дружку... Така будет просьба – не мешай, а там видно станет. И весь тут сказ для первого случая.

Ленька водил пятерней по столу, пытаясь рисовать какие-то круги. Мать подошла, набросила скатерть, и руки пришлось поспешно сунуть под стол. Скатерть была тяжелая, из каких-то немисливо далеких времен, вроде как бабкина, пользовались ею в особо торжественных случаях и, как всегда в таком разе, от нее исходил тонкий аромат других вещей, сложенных в сундуке, вызывающий сильное душевное волнение, острый запах нафталина. Надька уголки расправила, разглаживала складки. И отчим потянулся к уголку, вытащив бахрому, задумчиво перебирал толстыми грубыми пальцами шелковистые крученые нити.

Мать поставила на стол закуски, от которых Ленька давно отвык, среди которых был даже студень, бутылку вина и бутылку водки.

– Прихватили, думаем, а как забежит кто поздравить, – сказала снова заискивающе и будто бы чуть-чуть виновато, но Ленька улавливал всем своим существом, как приятно ей ставить на стол и хорошие закуски, и вино, и прочую снедь, как отвыкла она от подобного, делающего ее значимой в собственных глазах.

Надька бойко отгарабанила:

– Управляющий кричал: вернулись или нет, Камышовы вечером приходили. Я в избу звала, не схотели.

– Че же без хозяев, на пустой стол пучить глаза? – Мать вздохнула сожалеючи, как-то непривычно горделиво повела плечом, сунулась к зеркалу над умывальником, поправляя скорым незаметным движением высокую укладку волос, которую Ленька помнит у нее только на старой фотографии, где она с Симаковым, одернула складки бордового платья. – Жалко, убили впустую полдня.

– Не велика потеря. – Савелий Игнатьевич скovyрнул с обеих бутылок станиолевые пробки, поднял мрачноватый изучающий взгляд на Леньку: – Выпьешь с нами, все ж расписались?

– Вы-ы-ыпьет, вы-ы-ыпьет! – запела мать, присаживаясь с торца на длинную лавку с ведрами и чугунами. – Вона какой день, наливай полстопочки, как же.

Ленька украдкой наблюдал за матерью и не узнавал ее. Мать раскраснелась. Дышала с придыхом, с тем внутренним торжеством, которое непривычно еще, скovyвает, но и рвется, вылетает из ликующей души. Взгляд ее метался по столу, она что-то двигала, непрестанно переставляла.

Выпили – и Ленька выпил.

Все, сколько налил Савелий Игнатьевич.

С отчаянием и вызовом, будто желая досадить, долго сосал мерзлый соленый огурец, демонстративно не притрагиваясь более ни к чему.

Прижав к груди пышный каравай и размашистым движением широкого ножа отвалив большую горбушку, Савелий Игнатьевич спросил Надьку:

– Корку любишь – я в детстве, помню, корку любил. Штобы жжена-пережжена. Вместо конфетки.

– Люблю, – ответила Надька и застеснялась.

Савелий Игнатьевич отломил ей кусок, принохиваясь к хлебу, сказал с мягким рокотом в голосе:

– Хлеб, у тебя, Варя, – объешься... В леспромхоз вот ездил на днях, – он скосился усмешливо на Леньку, – дак отвез пару буханок – дружки у меня на участке остались. Ну-у, думал, одуреют... А то тоже одним соленьем закусывали.

Намек был слишком откровенным, чтобы не понять, Ленка покраснел и потянулся за куском.

Хлеб на самом деле был пьяняще свеж, душист, но есть с таким аппетитом, как ел Савелий Игнатьевич, было вроде бы неприлично.

– Не по душе мне эти поездки, Савелий, – не сдержав сомнений, укорила Варвара. – Чужими руками загребать – все мастера, а как отвечать... С тебя одного потом спросят.

– Да так, могут спросить, – отозвался рассудительно Савелий Игнатьевич, аккуратно снимая с бороды крошки. – Так без этого пока не выходит, разнарядки на лес у совхоза мизерные. Взлся – надо помогать, Изотыч в жмурки не играл, когда сманывал. С директором обговорено: они платят – я добываю. Оно не совсем шибко незаконно, но и от законов далековато, никуда не поперешь. Много не могу, а што могу, сделаю.

– Дак сделаешь, если велят, на то и начальство, чтобы подчиняться, но тоже... Им что, они высоко, ответчик всегда кто пониже.

Она еще подлила ему в стопку, Савелий Игнатьевич покрутил носом:

– Прилипчива зараза, сколь натерпелся через нее. Доходило до белой горячки. Однажды, сколь уж ден продолжалось, не помню, вдруг паровоз на меня бежит. Или глазастый такой, то ли фары горят. Как даст в грудь, в лоб, и все... Ну, ладно, впереди нова жизнь, за нее.

Откусывая крепкими зубами сочно всхрустнувший огурец, он словно прислушивался, все ли в нем в порядке. Отер тылом ладони толстые губы, заговорил не без раздумий:

– Объясниться хочу маленько для твоего старшево, не обессудь. Моя жизнь, значит, была така по тем годам. Зауральский я урождением, до войны в деревне. Робил. Воевал. Не геройски, больше по ремонту техники, хотя скажу... Но подвигов нету, тут я не расхвастаюсь шибко. Вернулся живой-здоровый – вот полноса нету, осколком отчкнуло как в насмешку, да так по малости кое-где в царапинах – избенка разорена, жена – ни слуху ни духу, разное болтали, но не нашел и сама не вернулась. Устроился на станции. Опять вскорости женился. На официантке железнодорожного ресторана. Сдуру, конечно, по пьяной лавочке, иначе сказать не могу. Другой через день сбежал бы, а я... Вместе опивались. Восемь лет. А потом та белая горячка, когда будто поездом садануло. Отлежался – я долго лежал, меня принудительно лечили – у моей разлюбезной гурьба кавалеров. Пришел, насмешки устроили, она – хуже чужой. Взбесился, побил люто и без разбору – уж одно к одному пришлось – и срок схлопотал. Так. Робил на совесть, половину отсидел, другу скостили и выпустили... Вишь, не скрываю, што скрывать-то. Уж много времени прошло с тех пор, в одном леспромхозе токо... Выманили на простор из лесу, а я как дикарь, никак не очухаюсь... Так. – Согнув шею, крепко придавил кулаком стол и решил завершить откровения.

Варвара и Ленка молчали, согнувшись над чашкой, молчала и Наденька.

С трудом поднимая голову, оглядывая грустно-молчаливое застолье усталыми глазами, утонувшими во мраке подлесья, Савелий Игнатьевич спросил, клонясь в сторону Надьки.

– Ну, Надежа, дружить станем, признашь за отца?

– Не знаю, – отозвалась испуганно Надька, вскидывая худые плечи.

Савелий Игнатьевич положил свою пятерню ей на макушку:

– С тобой-то мы сдружимся, ты ласкова, а братец у тебя фып, фыпится, и дела наши с ним пока выходят путаны-перепутаны. Ну ладно, – закончил со вздохом, поднимаясь. – Ране маленько выпили, прямо в снях на обратной дорожке, да тут уже две стопки, забусел. Пора на боковую, не обессудьте.

Пошел, слегка шатаясь. Варвара выпорхнула из-за стола, подставив плечо, повела его в горенку.

## Глава четвертая

1

Окинув оскорбленным взглядом новое место ночлега, ложился Ленька нерешительно, словно в чужом доме, где может ненароком причинить кому-то неудобство, но, вымотанный лыжным переходом, уснул мгновенно, неожиданно и проснувшись. Чутко слушая утреннюю тишину и шорохи, старался ничем не выдать пробуждение.

Когда мать прошла на цыпочках в горенку, поспешно выскользнул из-под одеяла.

– Умываешься? – На шум воды показалась мать. – А я: будить или пусть поспит еще? Да пусть, думаю, дома ведь. Может, задержится на денек.

В глазах ее стоял немой вопрос. Ленька понимал, о чем она спрашивала, и отворачивался, пряча лицо в полотенце.

Вышел Савелий Игнатьевич. Босой, в нательной рубахе. Подсел грузно к столу.

– Можно лошадь взять. Увезу.

Голос у него спросонья стал гуще, гудел сытой медью. Борода сбита набок, он расправлял ее кривыми узловатыми пальцами.

– Вот еще! На лыжах быстрее... если напрямки.

Но никакой прямой лыжни не существовало и не могло существовать, невольная, всеми замеченная ложь заставила густо покраснеть.

Савелий Игнатьевич произнес так же спокойно и басовито:

– Смотри, было бы предложено, в лошади управляющий мне не откажет.

– Да нет, лишние разговоры, – пошел на уступки Ленька, вызвав полное одобрение отчима.

Обмотав мокрые руки фартуком, по-прежнему будто виноватаясь, мать лезла за ним по сугробу. Остановилась на огороде у щитов снегозадержания. Не выдержав ее потерянного, неловкого взгляда, Ленька не пошел ночным припорошенным следом вдоль леса, а сразу рванулся вглубь, продолжающую жить обычной зимней жизнью, не очень-то прячущейся от него. Петляли, то разбегаясь, то вновь соединяясь, глубокие заячьи тропы. С шумом из-под ног взлетали косачи. Мелькнул на опушке рыжий хвост шустрой лисы, и оглашенно застрекотала сорока. Утренний звонкий морозец сбивал дыхание, с могучей березы – минувшей весной он нацедил трехлитровую банку сока – осыпался иней, прибавив необычной легкости и покоя за мать.

За мать, не за себя, за себя он еще ничего не решил.

Белые кружева на кустах и деревьях, струящаяся волнами по снегу приглушенная синь раннего утра, заманчиво искрящиеся лесные увалы влекли бежать и бежать, умиротворяя раздерганные чувства.

Осины казались белыми, пушистыми, гораздо наряднее, что провожали его вчера у карьера. Струдились большой дружной семьей, выделив место кусту шиповника, полыхающему ярко-оранжевой крупной ягодой.

Не уходить бы, навечно слиться с алым кустом, с дружной семьей осин, слушать и слышать милое и понятное. Но вот и здесь уже лишний, нет места в старой избе, наполнившейся чужими запахами, мужским грубым голосом.

Шел десятый час. Инесса Сергеевна лишь покачала головой и, пока он снимал шебаршащие задубелые одежки, сдирав с лица ледяную коросту, обивал о порог ботинки, дышал на озябшие руки, вынесла горячего чаю.

Жадными глотками опорожнив кружку и поставив лыжи в угол коридора, он упал на кровать.

Гудели устало ноги, онемевшая грудь продолжала сопротивляться степному ветру, пронизывающему насквозь холоду; тело и чувства с чем-то упрямо боролись, чему-то отчаянно противились. Снова и снова перебирая в памяти домашнюю встречу, он так и не находил ничего, за исключением выставленной в переднюю кровати да нового портрета на стене, что должно бы вызвать недружелюбие к Савелию Игнатьевичу – тем более тот и в загс мать свозил – но враждебность была.

Она не исчезла и в последующие дни, притупив интерес к обычным вечерним разговорам о будущем заброшенных и затерянных в лесах деревенок. Будет Маевка, не будет, какое дело лично ему, другая найдется. А то – получше. Ленька забросил тренировки, туго подавалась учеба, привычная и бесхитростная жизнь разладилось окончательно, и он больше не ожидал приближения суббот, приезда Курдюмчика, как ожидали другие школьники.

От него отступились, не взяли с расспросами, и Марк Анатольевич не досаждал тренировками на лыжне. Но появляться в Маевке было нужно, хотя бы ради продуктов, денег, и пока он, изредка все-таки приезжая, шел от конторы к дому, не мог избавиться от ощущения, что взгляды устремлены только на него и разговоры сейчас ведутся лишь о матери да Савелии Игнатьевиче.

При необходимости сходить за водой он, по несколько раз выглядывая за калитку, выбирал момент, когда у колодца никого не было. Другой срочной работы, которая ожидала обычно в конце недели на каждом шагу, начиная с пригона, находилось все меньше – Савелий Игнатьевич не сидел сложа руки.

Хотя бы про себя отдавая должное мужицкому усердию Савелия Игнатьевича, на это же самое Ленька досадовал, словно нарочно лишившего срочных дел. Но было, что поражало в этом суровом человеке больше всего. В отличие от мужиков о деревне Савелий Игнатьевич говорил не в прошлом времени, которого не знал, не в настоящем, доступном всякому пониманию, а только в будущем. Он уверенно говорил: сделам, построим, а вот лесу наволокем.

Ему внимали как богу, как никогда не внимали Андриану Изотовичу, его слушали охотно, выдыхая растревожено, и шире, натоптанной становилась тропка к избенке его матери. Приходили соседи, которые раньше избегали появляться и по нужде. Мать потчевала от всей души, заводила обстоятельные житейские беседы, побуждая еще к большей активности чопорного, смешного в такие минуты Савелия Игнатьевича, и под ее непринужденную воркотню он скоро добрел, размягчался, вокруг оттаивающих глаз сбегались приветливые морщинки.

Он предостаточно повидал на своем веку, на удивление много знал, слушать его ненавязчивые речи было интересно. Возникало невольное доверие и бессловесное уважение просто как к человеку. Но гости расходились, в избе вновь повисала неопределенная настороженность.

Однажды, взглянув на парня черными глазищами, качнувшимися как поплавок на ровной воде, Савелий Игнатьевич глуховато спросил:

– Вопрос у меня зародился.

– Задавайте, – откликнулся холодно Ленька, больше и больше ощущая, как этот крупный угловатый мужик, не сидящий почти без дела, завладевает его волей, сознанием, голосом, который становится вдруг сдержанным и уступчивым.

– После экзаменов куда планируешь – немного осталось до выпускных? Мать сказывала, дядя у тебя лесной школой командует? С умом – поворот хороший, я не возражаю, если решишь, и в помощи не откажу. – Отчим посмотрел на Варвару, словно требуя незамедлительной поддержки, и Варвара послушно закивала, закивала. – Мне мало довелось поучиться, жалко, сильно жалею. Головой не дурак вроде, а хорошей грамотности все одно не хватает. К лесу я понятливый с малства, кабы довелось вовремя поучиться... Так, все делается в свой час, а не задним числом, учишь хорошему делу, задачу крепко ставь перед собою.

И что это было – прозрачный намек на несовместимость в дальнейшей жизни или разумный совет старшего, более опытного – Ленька так и не понял. Или не хотел, не был готов.

Поужинав, привычно ссылаясь, что рано вставать, тяжело шлепая босыми ногами, отчим исчезал в горенке.

2

Спать в деревне, не очень обеспокоенной переводом в самый мелкий разряд, ложились рано. Притомились, должно быть, шуметь по пустякам, уловив, что в главном пока успешно выстояли, и шанс уцелеть сохраняется. Приятно удивляя Андриана Изотовича, мужики реже заглядывали в рюмки, на работу выходили дружнее, и хотя ссор да скандалов у конторы по утрам не убавлялось, крестьянские дела, главным из которых оставалось молочное животноводство, делались добросовестно.

– И водка запросто в горло не лезет, столь ты ее выхлестал, – подшучивал над увядшим и подзатихшим Пашкиным бывший управляющий, в одночасье ставший бригадиром.

– Дак че паниковать? Это у меня вразнос да на раскоряку, когда я паникую сильно. Тогда уж, а так-ту? Савка гоняет, знаешь как! У Савки не выдь-ка вовремя, – рассудительно говорил Данилка и охотно пускался в откровения: – Ответь, Андриан, што мужику первое из первых? Заблмыл моргалками, не знаешь! Да когда он – штырь. Чтобы всегда как шкворень при нужде. Чтобы: нужен и нужен. Микитишь, кикимора?.. Э-ээ, колупан колупаныч, ни хрена ты не микитишь в тонком деле рассуждений о мужицкой душе, отсель грубые твои руководящие промашки. У тебя – напился, значит, дурак.

– Ну, пьяный всякий – дурак, – отшучивался Андриан Изотович, не расположенный к праздной болтовне, но и не спешащий оборвать мужика, лезущего с очередной головной завихренью. – Хоть ты, хоть я. В этом разбираюсь не хуже.

– Ты сильно не пил, Андриан, твои доморощенные памороки не знают глубины настоящей тоски и полной ненужности человека. Запивают не только в безделье или слабости, ненужным для нашей народной власти не хочется числиться и бесполезным... как мы, некоторые... Странная она, не находишь?

– Для пьяных или трезвых?

– Изотыч, не крути пальцем у виска, я же серьезно, как никогда и ни с кем... Всей душой. Ты же не уполномоченный с нашивками и кобурой на ляжке, а вроде бы как человек среди остальных.

– Кажется, трезвый, а понять не пойму... Привиделось что-то?

– Виденья приходят в белой горячке, допейся, испробуй. Ты с бабами спец-молодец, тут у тебя конкурентов не было, а в моем деле, когда шарик за ролики забегают...

За каждым из деревенских, оставшихся зимовать в Маевке, Андриан Изотович знал много пороков. Среди них не было ни одного мужика или бабы, которые могли бы с чистой совестью предстать перед Господом Богом и поклясться в непогрешимости. Зато у каждого было нечто главное, выделяющее по части умения и мастерства, что Андриан Изотович ценил выше любой человеческой слабости, без которой, в чем он давно не сомневался, жизни не существует. Собственно, жизнь и есть сама потребность; а разная потому, что нет у людей одинаковых возможностей.

Везение или не везение, чья-то рука или что-то еще, вовремя поспособствовавшее выбиться в люди, – как уж сложилось, одни шаровары на дюжину мужиков не напялишь...

Но как бы твердо и властно ни продолжал он руководить деревенскими делами, смиряться с мыслью, что уже не управляющий, было непросто. Он заметней обрюзг, огрузнел, что произошло как-то сразу, почти у всех на глазах и будто в одну-две ночи. Поубавилось взрывной шумливости. Привычные распоряжения выдавал коротко, будто механически, не вступая в привычные споры и не устраивая знакомых разносов за допущенные упущения, при первой

удобной возможности отдалялся от всех, затихал, отмахиваясь и от жены, мгновенно исчезающей с глаз.

Его одолело непривычное состояние, когда, хорошо понимая, что в продолжающемся противоборстве государственной системы-машины и очередной умирающей деревни один в поле не воин, он не имеет права покинуть свое бранное поле. Все чаще приходил по ночам отец. Молча стоял у изголовья – иногда на протяжении бессонной тягостной ночи. Андриан проявлял терпение, ожидал, когда отец заговорит, станет упрекать, но так и не дождался: отец не вступал ни в споры, как было раньше, ни осыпал упреками. Он словно говорил тяжелым молчанием, что самое важное сыну успел высказать в свой горький час и, кажется, Андриан понял, на чьей стороне остается настоящая мужицкая правда. Их мужицкое прошлое, имевшее смысл, улетучилось в небытие, раздавлено жестокой машиной дьявольского Молоха, превратившей славное древнее Усолье в скукожившуюся деревушку с полусотней догнивающих изб, строившихся на века. Какая разница теперь, как они завершают свое земное существование, став бессмысленными по существу?

Андриану было беспокойно ощущать вину перед отцом, хотелось умчаться куда-нибудь в ночь... но и на это незначительное ни сил, ни прежнего желания уже не было.

Укористо молчаливое, осуждающее появление родителя все-таки приносило новые силы. Андриан пытался противиться возникающей слабости, искать доказательства, что прожил не зря и сделал немало. С какой-то фатальной обреченностью, несколько не пугающей, требующей полной осознанности дальнейших действий, может быть, последних в истории старинного сибирского села, он, приглушая гнев и опьяняющую ярость, словно упрямо готовился к самому главному теперь для него: не струсить, не отступить, не удариться в панику.

– Што паниковать-то? – слышался ему иногда задиристый голос Данилки Пашкина. – Нынче я штырь при Савке и пилораме, полно работы, и я как огурчик. И ты гвоздь, Андриан, не падай духом... Чтобы: нужен и нужен – и вся канитель.

Старый Хомутов, растирая поясницу, кричал благодарно:

– Хоть сено мы ноне вязанками не таскаем, хоть сеном снабдил, Андриан, по-вчерашнему вовсе не мало, благодарствуем.

Сено для Хомутова – и все его достижения, мечтавшего обеспечить на зиму кормами каждую мужицкую коровенку и овчачишку.

Умея принимать реальность, какой есть, а не как пытаются преподнести люди, у которых выстраданного за душой ни на грамм, Андриан Изотович отлично понимал, что затеянное им в Маевке нелепейший в современной действительности танец на тонком канате, вот-вот порвется. Не поможет ни новое открытие пекарни, ни школа, ни пилорама. Ничто не поможет. Сила, овладевшая деревенской жизнью, не просто какая-то слепая и глухая, она деспотично безнравственная, продолжая моральное разложение. С каким бы любопытством и снисходительностью ни приглядывались к нему в районе, как бы ни пытался в меру осторожности поддержать Кожилин, сама по себе его нелепая самодеятельность не может стать настоящим искусством нового созидания и генеральной линией поддержки существующей власти. Поэтому и отношение к ней останется, как отношение к обычной самодеятельности, пока окончательно не надоест и не станет пределом.

Снега, сами по себе уплотняясь после каждого бурана, сжимают звездным холодом и долгими ночами любые противоречия и неожиданные брожения мыслей, погружая деревни и села в долгую медвежью спячку. Зима для деревни – время бесчувственного разложения, погружающего в ступор и бездействие. Но Савелий Игнатьевич не поддавался общему правилу, вваливаясь ближе к полудню в контору по дороге с пилорамы, шумно вопрошал в замогильной конторской тиши:

– Новости есть? На проработку, как несознательного, не вызывают к товарищу директору? – Располагался за столом управляющего, известного каждой царапиной, расставлял

широко сжатые кулаки. – И сколь еще кувыряться – сказал бы кто недоумку Грызлову? Ну, до весны – точно, и у них наверху медвежья спячка. Вот и давайте, Савелий Ветлугин, пока время на нашей стороне. Чтоб не смогли... когда вешним ручьем потечет.

– За нами не станет, сам не спасуй. Весны он дожидается! Тут лесовозы скоро пойдут, а у меня конь не валялся с электрической линией...

Наивность Савелия Игнатъевича бесила и успокаивала. В самом деле, на кой черт ломать голову над чем не надо? Что же он раньше не понимал, за что берется и что намерен отстаивать, не щадя живота? Поплыл против течения и волны, так и плыви, гребись. Невмоготу, похнычь маленько – и дальше, и дальше. А как иначе?

– Что у тебя с Варварой? – спрашивал он изредка Савелия Игнатъевича, появляясь на стройке.

– Дак с Варварой как с Варварой, с Варварой склеиватся, – уклончиво бурчал Савелий Игнатъевич. – В другом пока остро.

– Со старшим? – спрашивал Андриан Изотович, будто не понимая на самом деле, в чем главная трудность новой семьи.

– С ним. Весь торчком, как шило. Вот каникулы опять скоро, прям теряюсь.

### 3

В разгар крещенских морозов, средь недели, качнулись разом снега, встали до неба. Мела степь седая лохматая завихрень, тянул заунывную волчью песнь озлобленный ветер. У сонных изб, сараев, пригонов, стогов сена вспухали новые суметы. Ломалось забытое на веревках перемерзшее белье, напряженнее гудели на столбах высоковольтные и телеграфные провод, а поверх – разухабистые голоса праздных, развеселых опять маевцев.

– Хо-хо-хо, люди добрые, светопреставление! – томненько пристанывал Паршук, раскланиваясь с прохожими и задорно раздергивая мехи тальяночки. – Прям в самый раз для беленья холстов снежок! Хоть трещи, хоть не трещи, а миновали водокреши! Дуй, не дуй, а к рождеству сверкануло, че же лежмя валяться. К великодню и равновесию светлово с темным! Ух, едрена мить, раздайся, грязь, не путайся под ногами!

Семенил, семенил почти вприпрыжечку, оберегаемый Василием Симаковым, чтоб не сверзился и гармонику не ухайдакал. А куда понесло, знает ли кто – на выход душа сорвалась, не мешайся и не сдерживай!

Данилка вывернулся из белой канители:

– Дедко, дедуля, пуп соленый! Куда тя лешак понес! Ить упрет ветром, не найтить будет со всем профсоюзом... Да гармошку, гармошку, говорю, не найти, ха-ха! Не тебя, пуп соленый!

– Васюха со мной, никуда не упрет! Рядом Васю-юха-стервец!

– Дак Васька по виду не лучше, набздыкался, только што не на бровях... Вровень, один к одному в спотыкачку играетесь. Самому, што ли, пристроиться сзади, глядишь, в чью-нибудь подворотню заволокут.

Несмотря на мороз, на Данилке сапожки-хромьята, длиннополое пальто с каракулем, шапка в масть воротнику, на бочок. Под ручку с женой, похожей на вместительный бочонок, у которого ширина больше высоты. Веселые, из гостей плетутся.

– Свищет-то, робяты! Ой-ее-е! – Закатил дедка глазенки, рванул гармонику: – Уж ты доля, моя доля, доля горькая моя! То ли немочь приключилась, с ног свалила старика.

Поскользнулся или ветром поддело излишне, сорвав дедку с мелкого шага, но Василий начеку, ухватил на шубейку времен Гражданской войны, с крупной латкой по низу, словно собака оторвала.

– Куды, бедовая головень! Стой, не пуцу одново!

– Не пущай, Вася-остолоп. Вместе давай до последнево!

Данилкина грудь переполнена восторгом – под надежным надзором по гулянке погода.

– Айда ко мне, растоптанная ты калоша! А ну, хватайся с левой руки, за што схватишься! Васька, хватайся и ты, как вас разделишь? – тянет куда-то в свою сторону Данилка, но не перебарывает старика и Данилка, отпускает вслед ветру.

Рваные звуки тальяночки уносятся ветром, а из-под новых липких ударов в лицо, в грудь – парни во главе с Колькой Евстафьевым голодным вороньем:

– С нами, с нами, дедка! Айда в клуб! Давай ей жару, не жалеи!

Подхватив под руки, с Василием в придачу, поволокли важную добычу-Паршука в близкую подворотню, раскачивающуюся хлестко. Втолкнули в избу, ввалились гурьбой.

– Хлеб да соль, добрые люди!

– Едим, да свой.

– А мы не за хлебом. Вам – песню из репертуара Гражданской известного Маевского музыканта деда Паршука, нам – бражечки на карамельках. С Новым годом, хозяин да хозяйка!

– Годится! В самый час! А ну, дед, вдарь жарче, в самом деле, холодновато чегось...

Нашла выход буйная мужицкая силушка: шумно отмечала деревня и Новый год, и старый, и прочие попутные ветхозаветного толка праздники. Когда под вечер в избу ввалилась распаханная по привычке Нюрка и сообщила, что в конторе объявились директор Кожилин и управляющий первого отделения Силантий Чернуха, до этого съездившие на сеновал, Андриан Изотович поверил не сразу. Со дня перевода деревни в бригаду и более важными делами в государственном плане, о нем словно забыли. Власть настораживала, принимая непривычные формы разделения на партийную и государственную, с уклоном отказа от прямого единоначалия. Об это спорили, но толком пока не понимали, утверждая, что волюнтаризму конец. Ну ладно, культ пережили, волюнтаризмом не подавились, дальше куда и под какую музыку небо копить?

– К дому дорогу не помнят? – буркнул он недовольно, приблизительно не предполагая за чем понадобился директору, да еще на пару с управляющим первого отделения. – Привела бы.

– Я сказала, что вы дома, на обеде, а они посмеялись насчет вашего аппетита и – в кабинет. Ворчат, что январь завершается, а гулянки не стихают.

– На то и январь, штоб гульнуть за живых и за мертвых... У них зато тишь с благодатью.

Силантий в самокатных толстых пимах с широкими заворотами стоял у окна, Кожилин, в белых чесанках, обшитых коричневыми полосками кожи, длинном драповом пальто с мерлушковым воротником, прохаживался у печи, растирал озябшие руки.

– Ну, бригадир, чем порадуешь? – с нажимом на «бригадир», напористо встретил его директор.

Это было то новое пока, непривычное, что необходимо было когда-то преодолеть, и Андриан Изотович, поняв директорский маневр как желание сразу расставить все по законным углам, не спотыкаясь больше на неловких моментах, прочно завладеть инициативой, хмуро повел плечами.

– Я, грешным делом, подумал, что это вы нас решили чем-то порадовать. Даже стопку обедешную не допил, заторопился. – Несмотря на плохо скрытую насмешку, голос его был сух и сдержан. – Шумим, гуляем, а кое-кому обычное наше веселье не по нутру, так уж хоть в звено сразу переводите? Давайте, примем и такую команду. Да только с чего наша загулышина, товарищ директор, неужто трудно допетрить? У кого ее нет сейчас по совхозу? Нет мужику работы – будем гулять, бражки настоять – труд не велик... А порядка не наведем, не сумеем заполнить пустоту делом, еще хуже будет. Хуже, хуже, Николай Федорыч, не крути головешкой.

Кожилин качнулся на каблуках модных сапожек, решительно уставился Грызлову в глаза:

– Давай в открытую, что больше всего разобидело?

– Обижаются на неверную жену, и только безмозглые, на государство – не приучены, – глухо и насуслено пробурчал Андриан Изотович.

– Обиделся, не крути, будто не видно. Сильно в печенках кипит? Но голову, надеюсь, не потерял, на месте?

– Вам виднее, смотрите, как она у меня и в какую сторону, – оставаясь колючим, холодным, подчеркнуто не шел на сближение Андриан Изотович.

– Андриан! – обернулся резко у окна Силантий. – Мы с тобой знаем друг друга не понаслышке, нам нет нужды объясняться. Ты сам поддерживал мою кандидатуру в управляющие первого отделения, и не моя вина...

– И не твоя вина, товарищ Чернуха, что Маевка теперь – лишь бригада твоего отделения? – усмехнулся Андриан Изотович. – Ну, а дальше? Дальше давайте! Уверен, что ты приехал не ради выяснения этих фактов.

– Не ради, – Силантий смутился. – Дальше нам с тобой и плясать соответственно.

– А сколь слупишь? – откровенно издевался над ним Андриан Изотович.

– За что? – притворно спросил Чернуха.

– За эту дружную народную пляску ансамбля Моисеева. – И словно с цепи сорвался: – Интересный коленкор получается! Приехали, дипломатию разводят с девятого пришествия, мол, не горюй, Андриан, вывернемся, не из такого выворачивались, а сами на сеновал облизываются. Не замечу, думали, что вы сначала на сеновал завернули, потом в контору?

– Перераспределение и раньше было, Андриан, – смутился Чернуха.

– Было, да сплыло, с этого года не будет. Я вас, Николай Федорыч, предупреждал заранее, не дам, – уже не сдерживаясь, кричал Андриан Изотович и метался по кабинету, мужицкой интуицией чувствуя, чем кончится. – И отступать не собираюсь, хватит ляжку тянуть за дядю бестолкового.

– А мы не собираемся тебя уговаривать, не замуж выдаем, – властно заговорил Кожин. – В конце концов, ты не сам по себе и не в колхозе работаешь, а в совхозе. На первом отделении, с учетом вновь принятого, вдвое больше скота, а кормов меньше вдвое. Это тебе не ясно?

– Вот! Вот! – возликовал Андриан Изотович. – Пришло время ответ держать за собственную глупость! Пришло-оо! Только цветочки пока! Лютики-васильки – пока уговаривают бестолкового инициатора по кормовой базе! А будут розы с шипами. Разве не говорил я вам, исполнителям, чем закончится ваше поспешное укрупнение в животноводстве? Почему не приняли мер? Почему подписались под явной авантюрой? Торопились поскорее отчитаться, какие вы послушные да усердные? Ха-ха! Жаль, веников не заготовил! Венички я сбавил бы вам без всяких. Пользуйтесь на здоровье. Ха-ха! Каждому начальнику-головотяпу по персональному маевскому веничку из бодыльев! Ха-ха! Придется подумать на будущее, от вас, захребетников, так просто не избавишься, вы еще долго будете зариться на чужое, пока и ему крылышки не опалите. На это вы мастера.

– Хватит истерик!.. Андриан Изотович, ты переходишь границы, подобным не шутят, – Чернуха заметно побагровел. – Раньше я был на твоей стороне, и мне все другие бездельниками казались, но сейчас, когда я там... Ты страшный человек, Андриан, я не узнаю тебя.

– А себя узнаешь, очередной наш нахлебничек? Та-а-ак! Еще одного деятеля вырастили на чужой загривок зариться. Ну, хватит страшным человеком ходить! Хватайте, гребите, волоките! Катись оно к растакой матери в клеточку.

– Но... Андриан, не горячись! Выхода-то нет все одно, ты понимаешь не хуже! Они там и меня скоро сожрут – ведь скот же, коровы-телята!

– Нет для безмозглых, уж не обижайтесь. А если я найду? Самый простой, как сама жизнь подсказывает? Будете слушать хотя бы?

Андриан Изотович прижался к печи раскинутыми руками, лицом, будто ему было невероятно холодно, потом резко повернулся, откинулся на горячий печной бок затылком:

– У меня два старых коровника пустуют – вы же с моих коров начали укрупнение поголовья первого отделения. В действующих уплотнимся... С марта-апреля бычков можно на открытом воздухе. Гоните: скот, людей, технику! Сколько хотите, все примем! Не из Маевки, Николай Федорыч! Не из Маевки, а в Маевку, где корма были и будут, как я вам весной еще обещал, начиная распашку заречной поймы. – Вскинул руки, не давая перебить себя. – Николай Федорыч! Это же старая история и старая наша болезнь. Иначе мы только заострим беду, а я разумное предлагаю, сам Бог велел нам животноводством заниматься в крупных масштабах не только на центральной усадьбе и первом отделении... Ну, на зиму, на зиму пока! Так и объясните в районе в два голоса: в связи с крайними трудностями. Чем корма возить день и ночь за двадцать верст... А весна грохнет, распутица?.. Ну, не передумаете к лету, не увидите чистых выгод, забирайте снова.

Задыхаясь, не ожидая, когда дыхание выровняется, он выдавил через великое преодоление, вперемежку с кашлем:

– Но и я тогда брошу все к чертям. Над чем биться-то? Ради какой такой светлой цели, если, кроме десятка моих охламонов деревенских, все против!.. Кстати, мы решим когда-нибудь вопрос о пекарне, или мне опять прибегать к помощи печатных органов, как со школой? Как буран, так неделю сидим без хлеба, как распутица – грызи сухари да сухую корку. Да что за жизнь! Нам шиш, а про сеновалы да сусеки наши не забываете.

Что-то вдруг изменилось в строгом, требовательном лице Кожилына. Весело взглянув на Чернуху, он произнес:

– Нет, Силантий Андреевич! Такого коренника сбоку не пристегнуть. Грызлов, всегда Грызлов!

– Конечно, он прав, – согласился Чернуха неохотно. – Пекарня нужна.

– Да разве это такой неподъемный вопрос, Николай Федорыч, чтобы столько мусолить! – обрадовался поддержке Андриан Изотович. – Помещение стоит, как прежде стояло, Настя Симакова сходит с ума от безделья, титьки танго – вразлет! Оборудование кое-какое сохранилось, ржавеет, у меня эти... формы где-то на чердаке стопкой уложены. Муки в рабкоопе не хватает? Хватает муки, свою не хуже, знаем, где брать. Не-ет, если уж решено под корень, расшибемся, но под корень снесем. Как зараза какая-то в нашей крови, умом свихнешься, честное слово, уже во всем сомнения берут...

Стемнело. Собеседники плохо различали друг друга, и никто из них сейчас этим не тяготился.

## Глава пятая

1

В праздники Савелий Игнатьевич из дому вылезал редко. Приглашений в гости было много, но Варвара отнекивалась вежливо: «Куды нам! Спасибо, спасибо! В другой раз. Да Савелию вредно, болеет он сильно с гулянок-то ваших».

Каникулы продолжались, и Ленька днями пропадал в лесу, проверял старые охотничьи снасти, ставил новые, вязанками на спине развозил по укромным местам свежую птичью подкормку. Возвращался в сумерках, обвешенный тушками зайцев и мерзлыми куропатками.

Савелий Игнатьевич хмыкал всякий раз:

– Сколь на свете живу, петлями не лавливал. Навострился, ловко выходит.

Он словно выражал желание побродить с ним по лесу, но сомневаясь, правильно ли понимает намеки отчима, Ленька отмалчивался. Январские морозы набирали и набирали злость. Держалось неделю под сорок и больше, перевалив на февраль. Силовая масса в ямах зацементировалась, рубили лопатами, топорами, ковыряли, чем падало на ум.

В ночь на субботу перехватило водопровод в коровники. Поднимаемые Нюркиным зыком, мужики подхватывались дружно, потянулись мимо конторы на водокачку. Застучали ломы, костры вспыхнули.

Савелий Игнатьевич потеснил Андриана Изотовича у траншеи:

– Копанья будет не на час, если седне управимся, давай-ка лучше водовозку организуй, коровки скоро запросят свое.

Андриан Изотович сдвинул шапку на затылок – с крутого лба повалил пар – обернувшись, заметив ковыряющегося в двух шагах за Трофимом Леньку Брыкина, отдал команду:

– Дуй за Евстафьевым, Ленька, придется на его машину цистерну ставить.

Мело, сыпало, завывало. Ветер налегал на комья вывернутой земли, крошил, швырялся крошками, мелкой твердой пылью.

Колька чистил у коровы в пригоне, вилы поставил неохотно:

– Фокусник я им? Ее утеплять еще надо, цистерну.

Вытер не спеша о соломенную подстилку сапоги и, отворив дверь в сенцы, похвастался:

– Я самопалку новенькую отхватил. Ижевка, заходи, покажу.

О ружье Колька мечтал еще до армии, приставал к отцу, но тогда у него не вышло, и Ленька сильно ему сочувствовал. Но и сейчас было не до ружья.

– Потом, в другой раз, там коровы с вечера не поены.

Машина стояла под навесом на ферме. Они принесли горячей воды из тепляка, Колька разжег паяльную лампу и, подогрев картер, включил зажигание. Аккумулятор не проявлял признаков жизни.

– Ну, гробина, довел до ручки, водило? – ворчал Ленька, помогая стартеру рукояткой.

Он скоро взмок, скинул рукавицы, полупальто, но машина не заводилась. А завелась неожиданно, когда они, кажется, полностью отчаялись, и Ленька крутанул всего лишь в полсилы.

До одного из порывов трубы, кажется, докопались: в траншее взблескивало синее зарево электросварки. Из-под ломов летело крепкое, как чугун, крошево. Тянуло смрадом горячей резины. Но более всего удивило, что на правах старшего и опытного распорядился Савелий Игнатьевич, и мужики, включая Андриана Изотовича, его слушались.

Андриан Изотович наказывал прыгающим в кузов:

– На растяжки поставьте. На растяжки – обязательно, то на раскате перевернется, угробите Кольку... Шланги, шланги не забудьте.

Ржавая и мятая цистерна – ею пользовались только летом для снабжения водой полевых сенокосов – лежала у кузни. Ее откопали, зацепили тросом за горловину, выдернули к дороге. На машину накатывали по бревешкам-покатам.

Ленька тоже толкал. С одной стороны от него кожилился до красноты Тарзанка-электрик, с другой неожиданно оказался Симаков, старающийся не замечать его. Зато Ленька не мог отвести глаз – отец же, одной деревне живут и почти не встречаются даже походя...

Данилка Пашкин подпрыгивал, пытаясь дотянуться и подтолкнуть цистерну, покрикивал:

– Разом! Разом! Еще!

Цистерна удачно соскочила с бревешек, но дагнула на противоположный борт. За нее ухватились, придержали. Бревешки вскинулись нижними концами и сбили кого-то нерасторопного с ног. Мужика поднимали, отряхивали от снега, радуясь, что обошлось без серьезных последствий.

Воду решили брать из трубы, по которой заливали огромный куб льда для летних нужд фермы и охлаждения молока, укрывая соломой. Искусственный айсберг длиной метров на двадцать уже поднялся над землей выше человеческого роста. Вода на нем курилась белой дымкой.

Зимний день закончился, едва они сделали две ходки. Костры в траншее проступили ярче. Полосой стлался густой черный дым.

Савелий Игнатьевич показался таким же черным, взлохмаченным, как дым горящей резины и солярки, расхаживал среди вспышек синих огней. Нервничая, Андриан Изотович посматривал часто на часы.

На край траншеи вскочил Курдюмчик:

– И другой порыв заварили! Спробуем, Изотыч! Скомандуй!

Он тут же исчез в дыму, и послышалось его ругательство, перекрытое дружным мужским смехом.

– Язви тя, я мальчик тебе, кто же так дергает! – гневался Никодим, растирая ушибленный бок.

– Не наступай на чужую куфайку, не слепой вроде, – пряча ухмылку, беззлобно ворчал Данилка, устроивший очередной переполох.

– Сатана неумытая, куфайку ему жалко.

– Не топчись на чужой вещи, – как ни в чем небывало хмыкал Данилка. – Забрался на чужую куфайку и выступает, артист ряженный.

– Ты это, Данила, пока с тобой по-хорошему. Не разбрасывайся словами, а то по зубам схлопочешь, – не унимался Никодим, растирая ушибленный бок.

На водокачке открыли кран, упредив криком. Мужики склонились над траншеей, щупали свежий шов труб.

– Подтекает? – спрашивал Андриан Изотович, бегая по бугру. – Подтекает где?

Вроде бы не подтекало. Задрали мужики головы в сторону коровников, замерли в ожидании.

– Есть! Идет, Андриан Изотович! – радостно закричали наконец бабы из коровника. – Хлещет во всю ивановскую, мужики! Эй, эй, кран закрывайте – открыли на полную!

Андриан Изотович скинул шапку, облегченно утерся изнанкой.

Савелий Игнатьевич лез из траншеи к нему на бугор:

– Утеплять сразу, Изотыч... Это в первую очередь – укрыть хорошо, не укрытой оставлять нельзя.

– У-ух, жисть наша навозная, отчебучили седне! – заливался дробненьким смехом Данилка. – Магарыч выставляй, управляющий, не финти.

Утеплять было нечем, забили траншею мелкой сечкой-соломой попеременно с мякиной, засыпали стлылыми земляными комьями, утрамбовав снегом, дружно закурили.

Курдюмчик взял крепко под руку Андриана Изотовича и Савелия Игнатьевича:

– Это, гвардейцы, Данилка в дугу буркотел... Не грех со всеми в моей избе посидеть. Без обеда, без перекуров... Приглашаю.

Не часто Савелию Игнатьевичу выпадала настолько напряженная и запыленная работа: с людьми, в самой гуще, когда с первой властной команды поверив тебе, все ловят каждое слово, не подвергая малейшему сомнению, дружно спешат исполнить. Все второстепенное разом отодвигается, мысли работают четко, лишь на узком и самом важном пятнышке сознания, решения приходят как сами собой разумеющиеся и вовремя. Он радовался, что решение принято, и принято с полной уверенностью в его правильности; ощущая озноб, точно готовился шагнуть в неприятно холодную воду, переключался на новые возникающие и возникающие задачи. И снова мысль бывала легкой, стремительной, не знающей усталости. Усталость приходила позже, и, почувствовав ее – поволновался изрядно – он почувствовал и разочарование. Идти домой будто бы хотелось и не хотелось. С Варварой ему было легко, а громы посуды, шлепанье Варвариных галош, едва уловимое шуршание платья стали просто необходимы.

И с Надеждой было легко. Надежда приняла его скоро, но любила донимать вопросами, в которых всегда таился скрытый смысл. Ей нравилось перебарывать вслух обильные впечатления дня, затрагивающие больше взрослую жизнь деревни, чем серенькую повседневность сверстников, с визгливым катаньем с ледяной горки. И ему было страшновато познавать этот непростой ее мир, в который она никого, пожалуй, еще не впускала так глубоко. Он старался быть осмотрительным в разговорах с ней, а Варвара смеялась счастливыми глазами:

– Секреты у них завелись! О чем шептаться постольку?

На радость ему, сближение с девочкой продолжалось стремительно, и чем глубже он узнавал Наденьку, тем сильнее крепло убеждение, что к матери у смысленной девчушки больше недоверия, чем к нему. Исподволь стараясь переубедить девчушку, заставить думать о матери лучше, чем она думала, но Надежда убежденно и выстрадав не понимала его и говорила:

– Ага, ты волосатый и черный, но я тебя не боюсь, а мамка...

– Ну, што мамка, ну што? – допытывался он, искренне переживая за Варвару.

– Она водку сильно пила, прям стаканами, ее я боюсь.

– Я тоже когда-то сильно пил, – решался на крайность Савелий, – и щас не святоша.

Надька упрямо трясла головенкой:

– Не-е, я видела, ты так все одно не умеешь.

– Дак и мамка больше не пьет!

– Не пьет, когда ты рядом, – соглашалась девочка.

– Одна, што ли, пьет? – хмыкал Савелий Игнатьевич.

– Нет, совсем перестала.

– Чем же плохо?

– Ничем. Если так будет всегда, то – хорошо.

– Так и я об этом, что у нас теперь пойдет к лучшему, с братом твоим токо подружиться бы.

– С Ленькой?

– С ним, с кем ище?

Но зимние каникулы продолжались, в присутствии брата Наденька потеряла к нему интерес, а Ленька вел себя так, будто смирился временно с его появлением в доме как с неизбежностью. Все это шевельнулось вдруг острой досадой, и Савелий Игнатьевич полез вслед за Курдюмчиком.

Встреч в лицо несло снежную завихрень, било хлестко, упруго, и белая пелена заволакивала ледяной паволокой слезящиеся глаза.

Во дворе Курдюмчика, у крыльца, с укороченной цепи рвался пятнистый кобель ростом с трехмесячного телка. Скреб в бешенстве когтями будку.

– Ну и бугай, отродясь такого зверя не видывал, – подивился Савелий Игнатъевич.  
– В хозяина, – фыркнул Данилка. – В нашей деревне, Игнатъич, все собаки на хозяев похожи. Не заметил разве?

– А у тебя какая?

Данилка бесшабашно махнул рукой:

– Беспутная. Пустобрех.

– И хозяин? – добродушно хмыкнул Савелий Игнатъевич.

– А че, не схожи? – балагурил беззлобно Данилка. – По-моему, точь-в-точь и тютелька в тютельку. Я-то почему должен выделяться, и у меня как у всех, ушки на макушке.

– Примам к сведению, примам, – Савелий Игнатъевич подходил к злобствующему псу.

– Шутки оставь, Игнатъич, – остерег Курдюмчик и положил руку на плечо пилорамщику. – Взрослый, поди, не ребенок – баловать.

– погоди. Вернись к мужикам, с тобою скорее сцапает. – Уставившись на пса, Савелий Игнатъевич не поворачивал головы.

Курдюмчик поправил шапку, спятился осторожно:

– Тоже одичал, как десять лет на цепи держали. Распустит ляжки клыками, узнаешь.

Савелий Игнатъевич сверлил собаку пронзающей немигучим взглядом, говорил что-то тихо и властно. Мужики посмеивались, дымя папиросками и ожидая позорного дезертирства Ветлугина. Савелий Игнатъевич подошел вплотную, медленно опустил руку на вздыбленный собачий загривок, и собака присела, продолжая скалиться, предостерегающе рычать, но не столь грозно, как минуту назад. Следила она не за рукой, нависшей над нею, а за его глазами. Савелий Игнатъевич снова коснулся ее загривка, потрепал небрежно, по-свойски, и последовал мимо в сарайку.

– Вот bestия бородатая! – восхитился шумно Данилка. – Я бы за ящик водки не согласился.

– Взгляд у него тяжелый, прижучил, – объяснял Курдюмчик. – Мне отец еще сказывал: бывает у человека такой тяжелый взгляд, собака не выдерживает.

– погоди, погоди! Ему обратно идти, – хорохорился Данилка, явно желая Ветлугину конфуза.

– Пройдет, – уверенно произнес Курдюмчик, поднимаясь на крыльцо и брякая щеколдой. – Поднимайтесь дружней.

Савелий Игнатъевич вышел из сарайки, так же ровно, спокойно, уже не выставляя руки, как бы не замечая собаки, вернулся.

– Сдурел, поп-расстрига! Да Варька нас, ухвати он тебя за мотню... – трещал неумно Данилка и уважительно таращился на пилорамщика.

– Надо было, – мирно сказал Савелий Игнатъевич. – Собака, она бывает понятливей человека. Зачем я ей, безвредный?

Двор у Курдюмчика просторный, с расчетом на стоянку грузовой машины. Ворота высокие, с козырьком. Дом позеленел от времени, но статный, кряжистый, словно мужчина в расцвете лет. Бревна необхватные без единой трещинки – подбирались мастером, понимающим толк в дереве и времени заготовки.

В избе по старинке: полаты, большущая печь с пристроенной рядом плитой-грубкой. Просторная ниша в подпечье с ведерными чугунами и казанами.

Савелий Игнатъевич дотянулся до полатей, хмыкнул:

– На што они тебе? Давят, низко.

– Выросли на полатах, детей вырастили. Вроде никому не мешали.

– Да так, но стариной дремучей отдаст. У тебя молодежь, парни, свыклись, што ли? Кто на них – без полатей свободней!

– А я в своем деле ничьего мнения не спрашиваю. Не нравится отцово-дедово, стройте свое.

Он выставил на стол праздничные запасы, гневисто пробурчал:

– Для них готовил, порадовать... Не приехали и не надо, давайте сами, не пропадать такому добру.

– Ну-ка, ну-ка, чем ты на Новый год обзавелся, проверим, – прищурился Данилка и, махнув первую рюмку, замотал головой: – Ого, Изотыч! Уши заложила, стерва... Ох, и стерва же, Никодим!

– Горячая? – смеялся Андриан Изотович.

– Давит.

– Как начальство на нашу деревню?

– Ха-ха, ково! Крепше раз во сто. То давление против Юркиного продукта ерунда насовсем. Игрушка котомке, што на обед!

Савелий Игнатьевич рюмку решительно отодвинул, сказал виновато и негромко:

– Без нужды не хочу, не обижайся, хозяин. Я – посидеть со всеми, поговорить.

– Варьки боисся? – хмыкнул Данилка, скосив слезящийся глаз.

– Себя, балагур, – сурово поправил его Савелий Игнатьевич. – Нам себя надо бояться прежде, чем жен, и поменьше баловать всякой отравой.

Он впервые назвал Варвару на людях женой и вдруг почувствовал, как это жестоковатое на слух слово прибавило собственного уважения, властно потребовало быть достойным его.

– Это, мужики... не обессудьте. Варвара ужин давно сготовила, ждет не дождется. Надежка на дверь заглядывается, ушки на макушке. Ведь не сядут, пока не приду, а я не предупредил.

Данилка заливался вовсю, не принимая всерьез его смущение, и другие не очень поверили – по глазам было видно. Взлупотав на себя и нерешительность, багровея, Савелий Игнатьевич тяжело поднялся.

Бухая валенком, кто-то ломился в избу. Сердито толкнув дверь, Курдюмчик поспешно посторонился:

– У кого там руки отсохли? Входи головой, не ногами.

– Иди-ка скорей, Андриан! Мужики, Тарзанка жену с детьми на снег выпихнул, в магазине, сатана эдакая, крушит все топором. – На пороге стояла растрепанная Таисия.

– Козин? Мы с ним полчаса назад как расстались. Где успел?

– Да он почти не пьяный был. У Валюхи-то там с Колькой Евстафьевым... Стакнулись ить, прохиндеи, а он, вроде как застукал, застукал... Или как уж оно, откуда мне знать. Выручайте ребятишек, мужики, жалко ведь, детки-то не причем.

– А ее, курву, те не жалко? – вздыбился вдруг Никодим. – Ей давно пора все дырки запаять. И верхние, и нижние. Злее Варьки становится, прости господи. – Сообразив, что не то сморозил, не к месту, Курдюмчик замер с поднятыми кулаками, вспухнув кровью, грохнул ими по столу: – Язви вас, кобылы невзнузданные, согресишь совсем! Прости, Савелий, сдуру-то не такое вылазит... Сгоряча оно... Прости, как товарища прошу.

Мертво было вокруг стола. Схватив шапку и разгоняя криком оцепенело неловкую, страшную стылость, Курдюмчик заторопился:

– Поднимайся, пошли! Тарзанка – тоже. Хлюст из хлюстов. Она в магазине хвостом круть-верть, а он свои приманки завел. Ты б, Изотыч... На вчерашних школьниц заглядывается, паскудник, и это...

Бежали скопом по темному проулку к магазину – жила Валюха в другой половине казенной хоромины. Непонятно на каких силах и Савелий Игнатьевич бежал очень резво. Неприятные слова о Варваре вызвали совсем не то досадливое и оскорбительное чувство, о котором подумалось Курдюмчику. Его ослепляла ярость на беспутствующих безнаказанно мужиков. Ведь подбирают всякие тайные ключики они, легкомысленные повесы! Соблазняют чужих жен да одиноких неприкаянных бабенок и похваляются опосля нехитрыми победами. А затронь его личный интерес, так называемую мужскую честь, и пошел выкамаривать, позабыв, как над другими насмехался высокорото. Нет, Юрий обиды не вызвал, скорее, рассердил на себя, увязавшегося с мужиками, заставив переживать Варвару в ожидании. Нельзя так, нельзя. Там и парнишка с девчонкой, хочешь, не хочешь, занервничают. А Варваре-то как...

Валюха Козина, в чужой, великой ей кофте, металась под окнами магазина, закрытыми на ставни. Ребятишки шныряли – особая забава, когда кто-то кого-то колотит жестоко и безжалостно. Охали сочувственно и соболезнующе привычные ко всему старухи.

– Андриан Изотыч, миленький, он в магазин уже ломится, дверь кромсает! Он же спалит там все, Андриан Изотыч!.. Мужики-ии, помогите, как можете! Не мое там, казенное!

Отдышавшись немного, Андриан Изотович постучал в запертую изнутри дверь, обитую снаружи листовым железом, требовательно позвал:

– Тарзанка! Ты меня узнаешь, пес шелудивый?

– Чего это с оскорблениями, управляющий... или кто ты теперь? Я не пьяный пока, седне меня, скорее всего, не возьмет... Во, слышь, управа-бугор, сколько собралось порожняка, а мне хоть бы хны! – Козин побрякал пустыми бутылками. – Опрастываю, опрастываю, и ни в одном глазу.

– Еще раз спрашиваю: ты меня узнаешь, алкаш ненасытный?

– Я всех узнаю, кроме сучки моей мокрой.

– Тогда слушай внимательно. Будешь слушать?

– Ха-ха, валяй, Изотыч, че тебе остается.

– Семейные ваши неурядицы – это одна канитель и разборки, а государственные ценности, на которые ты сейчас покушаешься при свидетелях, – другое дело и общественно опасное. Свое изрубишь-расфуркаешь – тебе опосля наживать, замахнешься на государственное – не обессудь, примем меры. Понятно?

– Ха-ха-ха! Какие, интересно бы знать. Что за меры такие, когда я здесь, а ты там? Шутник ты у нас, Изотыч!

– Высадим эту затыку, Василий, окна со ставнями на раз вынесем, а тебя, кукла твоя на репу похожая, все одно достанем!

– Спробуй, я не против. Но тамбурок тесноватый, двоим просто не разминуться... Спробуй, если смелый такой.

– Говоришь, не пьяный, а язык спотыкается... Дурак ты, Васька! Ох, и дурак!

– Не твое дело, Вальку лучше пожалей напоследок, сучку. Мало ей Натальино брата Витьки, сосунка в солдатских галифе завела.

Ухнул топор. Заскрежетала жесь.

– Слышь, Изотыч! Скоро доберусь до ее добра.

– Тарзанка!

– Доберусь!.. Доберусь!.. – орал Козин с придыхом и рубил, рубил замашисто что-то в гневе.

– Еще раз предупреждаю, Тарзанка, остановись!

– Доберусь... если взялся... Устрою ей кордебалет с поминками!

Пала на дверь Валюха. Заскреблась крашеными ногтями:

– Вася! Вася, миленький! Посадят же!

– Тебя, курву... давно... пора... посадить. У тебя все гири не клейменные... С каждого метра товара... четверть выгадаешь... Даже к сахару ведро с водой ставишь на ночь...

Утомился, видно, Васька, прилип к двери:

– Андриан! Изотыч, она плащ осенний сплвила Таисии на двадцатку дороже.

– Вас-ся, прости-ии!

– Сука! Потаскуха! Замри, чтоб голоса не слышно!

Снова замашисто заработал топорик: ух! ух!

– Все!.. Все!.. Спалю!.. Думаешь, ради твоего магазина я тут жил?.. Черта с два!.. Во мне чувства были к тебе... хоть и пил я сильно... Красотка-мамзель, с подолом на голове... С тоски я пил, понятно! С тоски над всеми куражился... А ты с геофизиком-дружком... В школе еще, не слепой был... Спряталась у меня за спиной и выкамаривала.

– Прости, миленький ты мой! С ума я сошла!

– С ума ты сошла от халявных денег, обвешивая и обмеривая бесстыдно на каждом шагу – сама мне любила хвалиться...

– Вас-ся-я, убей, не позорь! Глупости я болтала, больше выдумывала, тебе чтобы понравиться!.. Люди, не верьте, не верьте!

– А то никто не догадывался! Догадывались и помалкивали – так уж устроено нынесь.

– Вася! Люди... Да как же дальше-то жить?

Человеческие трагедии не часто выворачиваются наизнанку и становятся всеобщим достоянием. Недавно еще казавшаяся всем стройной и горделивой, умеющей блеснуть нарядами и красой неписаной природной, Валюха была неузнаваема. Лицо ее, тонкобровое, в румянах и пудре, не было уже столь привлекательным и моложаво высокомерным, а было заплаканным и безумным. Волосы не лежали больше пышной белой шапкой, а свисали неровно подрезанными серо-соломенными охвостьями. Расплылась она как-то вся – обреченная на гибель и несмываемый позор. Ничто больше не выпячивало ее из сплотившегося кубла тяжко вздыхающих и, должно быть, сочувствующих женщин, как выделяло раньше.

Шепот прошелся по толпе:

– С лица, никак, сменилась! Гля, гля, бабы, свело как!

– Окажись в таком переплете!

– Ну, знаете! Голову надо иметь на плечах и подолом поменьше мести, Накрасятся как на выставке... Господи, ну как можно!

– Мужики, принимайте меры! Что же вы, мужики!

Сползала Валюха на дверную приступку, билась головой о крашенные доски крылечка:

– Вася! Вася! Вася!

Вот что было надо бабенке, как тут поможешь?

– Пусти-ка, Изотыч, каша манна, ты как-то не по-моему разговор повел с обормотом. – Отстранив Андриана Изотовича, пилорамщик постучал кулаком по дверной обшивке: – Эй! Слышь, генерал на козе!

– Ну! Че те снова, Изотыч?

– Не-е, я это, Ветлугин.

– А-аа, чучело бородатое! Здорово, старOVER!

– Я так не здороваюсь, погоди.

Савелий Игнатьевич приналег на дверь, обитую тонким железом, она затрещала, он откатнулся и с размаху высадил плечом. Выставив руку, медленно и внешне спокойно пошел в проем, как только что шел на кобеля во дворе Курдюмчика.

Дальнейшее произошло в одно мгновение, никто не был готов поспешить за ним. Но помощь пилорамщику не понадобилась. Вылетел на снег топор, и следом вверх тормашками вывалился виновник переполоха.

Савелий Игнатьевич появился следом. Брезгливо вытирал руки о подкладку дошки.

Тарзанка корчился, извивался, разевал рот с вставными зубами – в детстве, носясь по макушкам старых берез у клуба после шумевшего фильма о Тарзане, Васька Козин сорвался, сломал руку и высадил с полдюжины зубов о барки для запряжки лошадей в пароконную бричку. Парень он был, как выражались старухи, баской, то есть ладный, фигуристый. Носил пышный русский чуб, пристроенный всегда над левым ухом. Любил расписные джемперы без рукавов и пестрые цветастые рубахи. Единственный в деревне к тому времени суживал брюки. Такой он лежал в центре толпы: разодетый как петух, в красных шерстяных носках. Рылся длинным носом в снегу и ревел на пределе отчаяния:

– Прибью, стерву! Все одно не жить ей, б... дуге!

Постояв над Тарзанкой, Савелий Игнатьевич раздвинул плотную, угрюмо затаившуюся толпу.

## Глава шестая

1

Морозы не ослабевали, и провода гудели натужено, разноголосо: в деревне – тоньше и мягче, за фермой, на высоченных опорах высоковольтки – мажорнее, с громкими стылыми голосами и тихими подзванивающими подголосками, в которые врывались изредка с нахлестом ветра не то скучное волчье подскуливание, не то затяжной утомляющий гул. Хрусткопевуче, как сочная капуста под скорым ножом, хрумтел снег под санями и валенками. Над избами, улицами, перелесками за околицей висело белесое непроглядное марево. Ошубленная река курилась плотным зыбким туманом. Небеса осыпали деревню звездной колючей пылью, кружевными белыми бляшками. На карнизах, проводах и деревьях, над окнами изб, наполовину закрытых сугробами, нарастал пышный куржак.

Пустовала у обледенелого колодца с воротком присыпанная инеем горка. Попрятались воробушки, будто вымерли до единого беспутные псы, оставленные на произвол судьбы хозяевами, покинувшими деревню.

Тишь блаженная стояла после ветров новогодних и буранов. Болезненным призраком являлось, пропадая скоро в низовом тумане, радужное, в ярких разводах солнце. Туманец вспыхивал безразмерным и блеклым искрящимся костерком, но солнце скатывалось за горизонт и, оголяя горизонт, туман приподнимался повыше.

Кругом белым-бело. И поля искристо-белые, и небо утомленно выцветшее в морозные январские ночи, выются из труб толстые колышущиеся канаты подсиненной белизны, на которых деревня кажется накрепко подвешенной к белесо мертвому небу и раскачивающейся как на волшебных качелях. Стылая, онемевшая послепраздничная мертвятина. Все будто вымерло, ужалось, уснуло, накрытое белесым февральским холодом и звенящей в ушах пустотой – какая тут жизнь?

Привлекая внимание, дымы печные наводят на размышления больше всего. Уплывая и расползаясь, улетучиваются неспешно в неведомое. Лохматые, каждый по-своему. Загадочные, единственно знающие тайну и суть каждой семьи и каждого маевца. Столб к столбу и судьба к судьбе, накрепко пристегнувшие к божественным небесам невзрачные и кособокие избенки.

Время перестало спешить и тоже точно замерзло: минута разверзалась часом, час сутками.

Людей редко видно, еще реже слышно. Пробегут на работу, которая без продыху только на скотном дворе, силосных ямах, сеновале и в осиннике, где ставится пилорама, поспешая в сумерках или вовсе во тьме, возвращаются обратно к своим очагам. Шебаршат наволглой за день от мужицкого пота и задубевшей как жесть одежкой.

Нето-нето в магазин прошествуют: шапка набекрень, сапожата поскрипывают. В гости из подворья в подворье перешагнут в том же ухарски осоловелом виде, и все – тишь, придавленная и сокрытая могучими суметами и молчаливо холодной космической невесомостью.

Лишь бабы с четырех утра и почти до полуночи на скотском дворе без продыху, да ребята успевают ухватить своей воли. Под вечер самые отчаянные из них огольцы вылетают на снегурочках за околицу, навстречу желтоглазым рыкающим тракторам, в спарках тянущим на тросах скирды сена или соломы. Цепляются, барахтаются, катятся с визгом.

На ферме, когда, опростав волокушу, тракторы уходят, разгораются пыльные сражения. Лазают невеликие настырные мужички по сему-соломе, кувыркаются, позабыв о морозе и строгих родительских наказах, роют потайные ходы, упиваются остывшим духом знойного лета. Скирды оседают, крелятся на бок, вызывая новый гвалт и восторги.

Но темнеет, деревенька погружается в стылую беспросветную ночь. Долгую и кошмарную, тоскливую в мужицком безделье: собственного скота мало, птица порезана заблаговременно, чтобы не соблазняться незаконной добычей корма, хрюкающее поросся, по той же причине, лишь в тридевятиом дворе.

Скучная жизнь, придавленная суметами. Электрический свет – достижение цивилизации – и то до полуночи.

Тускло-желто высвечиваясь окнами, блымала в сугробах засыпающая деревенька-бригада. Тешилась такими же белыми, как все вокруг, белыми-белыми снами-забудой...

## 2

Пилораму ставили за скотным двором в молодом осинничке. Возвели эстакаду с лебедкой для подачи бревен на распиловку, проложили рельсовый путь, залили фундамент под станину и выбухали выгребную ямину для опилок. Здесь теперь было самое оживленное место, все набегали посмотреть, как и что, скоро ли.

Не давая никому передыха, испытывая нескрываемое наслаждение от неостывающего внимания к собственной персоне, Савелий Игнатьевич крутился чертом.

– Оплата двойная, мужики, – напоминал с напором, если кто-то пытался возражать по поводу воскресной работы. – Неволить не имею права, но сроки поджимают, думаю, не подведем совхоз и Маевку.

Мужики, молодежь во главе с Васькой Горшковым и его младшими братьями Толькой и Семкой, следующими всюду за Васькой, как ординарцы, не подводили. Они лишь посмеивались по поводу этого крамольного «неволить не имею права», поскольку настырность пилорамщика во всем, что касалось стройки, была по душе, и заверения насчет повышенной оплаты не расходились с делом.

– Савка, тебе шибко к лицу командирство, полный генерал ты у нас по нынешним временам, – оседлав толстенное бревно, тюкая по нему легонько, гудел сквозь зубы Данилка.

– Сам догадался, али хто подсказал? – тужась и налегая на такое же толстенное бревно, стесанное с одного бока, спросил улыбочиво Савелий Игнатьевич.

Бревно скатилось с козел, мягко шлепнулось на снег.

– Сопишь громко, молодняк вон, Горшков с Тузиком сильно пугаешь. – Данилке по душе веселая работа, плотницкий топорик слушается его на удивление охотно, охряное лицо блестит, точно навощенное вазелином. – Как сопнешь, как всхрапнешь от натуги, так и оглядываемся.

– Зазря не оглядывайся.

– Как же! Вдруг команду на обед пропущу. У нас, бывших колхозников, на этот щет сурьезно.

– Эту команду пропустишь-нет, а сучок лишний отхватить не мудрено – вертишься если.

– Го-го-го! – заливается весело Данилка. – Травма будет дак травма. Если суд не засудит, то уж баба моя... Ха-ха-ха, держись тогда, некрещеная богородица.

И еще кричал что-то в запале, не обращая внимания, кто вокруг: девки ли, бабы или обычная мелюзга, и нет вроде за эту веселую похабшину никакого осуждения. Лишь вспыхнет на миг какая-никакая деваха, услышав неприкрытое бесстыдство, потупит свой чистый взор.

Но из-за частых буранных заносов и по вине нерасторопных совхозных снабженцев случались напрочь пустые дни, и уж тогда мужицкое сквернословие звучало далеко не безобидно и куда изощреннее, затрагивая и боженьку и его боженят. Мат деревенский ведь как, одно дело для ухарства и пустого балагурства, когда в него не закладывается осатанелая злость, и он ограничивается ловкой игрой сально-крученых словечек, и вовсе другое тот, наполненный душевной болью, злобствующий до предела словесными загогулинами и непотребщиной,

выдавливающей через ухо мозги. При таком повороте дела домой, изрядно намаявшись, чтобы удержать в рамках горячую мужицкую рать, Савелий Игнатьевич возвращался поздно. Сбрасывал старые валенки, вытянув огромные ноги в портянках и ослабев, усаживался безмолвно у печи, словно впитывая в себя весь печной жар, сжигающий постепенно горечь неудачного дня. Варвара, угадывая его состояние, льнула ненавязчиво, мягко, смеялась незнакомо-заливисто, будто жаворонок, взлетевший в небо после затяжного ненастья, звала за стол. И он скоро оттаивал, ее Савелий Игнатьевич, легонько отстраняясь, мол, еще надо бы заробить на ужин, уходил во двор, к зароду, чтобы надергать сена на следующий день, наколоть дров.

Дров требовалось много, особенно в субботу для бани. Сумев сорваться пораньше, но все равно в сумерках, Савелий Игнатьевич спешил, пока совсем не стемнело.

Звуки топора доносились глухо, укористо, не выдержав, Варвара скосилась на сына:

– Ну, че ты с книжкой да с книжкой! Шел бы, а, Леня? Может, помощь, какая нужна. Их в предбанник еще надо сносить и воды пока не наполную, сама не успела.

Отвечать не просто, не вяжется у него с отчимом, и парень бурчит неохотно:

– Он сам не хочет ни разговаривать по-человечески, ни чтобы рядом я был – не пробовал, что ли?

– Так вот не умеет впустую болтать и с другими не шибко разговорчив. Ты-то уже десятиклассник. Грамотный, сам постарайся с подходом. Че же он, хуже других или лодырь какой?

Сказать такое о Савелии Игнатьевиче не поворачивался язык, но и стелиться перед ним ни с того ни с сего желания немного.

Мать настаивала:

– Не кочевряжься-то шибко. Упрямится он! Ты губы дуешь, не так тебе все, а он целый час топором без перерыва. Будто не слышишь. С работы пришел, не с гулянки, поди, с бревнами намантулился, день лодыря не гонял... Ну, Леня, сынок!

Отказать невозможно. Неохотно поднявшись, Леня вышел во двор, не проронив ни слова, начал молча сносить поленья в сенцы, занес пару оберемков посуше в избу, складывал в просторном предбаннике. Наколото было много, а отчим не прекращал настырной сердитой работы, словно вымещал на крепких березовых чурках скопившееся дневное зло. Он был крепок, по-мужицки устойчив, топор поднимал и опускал резко и сильно, добиваясь результата с первого удара по чурбаку, разваливая надвое. Его размашистой мужицкой силой, мужицкой надежности, о которых Леня имел самое приблизительное представление и настоящего мужика у себя на подворье не помнит, можно было лишь позавидовать.

Вырвалось как-то само по себе:

– Там это, ужин стынет, мамка нервничает. Собираешься останавливаться или до утра будешь махаться.

Топор отчима впервые дал промашку, потянув его в сторону. Выровнявшись, вогнав новым легоньким замахом острое лезвие в уцелевший окоротыш, Савелий Игнатьевич мирно сказал:

– Дак че же, давай закругляться, черту подводить. Ударно поробил, не стыдно к столу садиться. Спасибо, што перенес, а то бы – хоть до утра... Да разошелся и разошелся на всю катушку – день-то прошел плохо.

– Людям нравится, – не удержался сказать Леня.

– Што нравится? – не понял Савелий Игнатьевич.

– Ну, порядки ваши в работе. Строгость. И зря не шумите... как управляющий.

– Нашел што сравнить; нам до него далеко, Леонид. Это фигура!

– Я понимаю, но когда...

– Дак я и сказал, што фигура. На общей работе – одно, на балагурстве... Когда сам для себя – тут одна закавыка с печатью. А когда дом, где жена у печи самая настоящая, семья,

тут, Леонид, знаешь, как сердце стучит. Я долго к этому шел, ни на што не надеялся, а вот те и жменя пятаков на полный рупь...

– Не старый, че было не надеяться? – произнес торопливо Ленька, застигнутый неожиданной откровенностью отчима.

– Не старый как будто, а што за жисть за спиной? Души-то уж нет, жвачка верблюжья. Знаешь, я тоже рос без отца, хотя и с отцами у многих не лучше. Вот што не пойму: ну нарожали нас отцы-матери, государство взялось вырастить, а растем-то мы сами себе. В подворотнях, в дружбе с Полкашками и Жучками. И кем вырастаем? У городских внешнее хоть присутствует. Кое-какой форс с лихостью, а у нас? У меня в городе не получилось, не смог.

– Не знаю, мы сейчас спорим, учитель физкультуры, войну прошел, по-настоящему деревенский, помогает, а в голове сплошная каша. И в деревне нет настоящего будущего, и в городе не знаешь, с чего начинать.

– С образования, с чево. Оканчивай школу и вперед, за дипломом.

– Вам легко рассуждать, с нашими тройками далеко не разгонишься. В лучшем случае в училище-ремеслуху или техникум где недобор.

– Так старайся, тут у тебя помощников не найдется. Осилишь – выбьешься в люди, не сможешь... И не получится, не умрешь, руки на што.

Помолчали сколь-то, но разговор не затих, перешел в другое русло.

– Вот што для бани лучший сорт – береза! – не меняя благодушного настроения и менее всего интересуясь Ленькиным, рассуждал Савелий Игнатьевич. – Да комель когда узловатый. Жару от него, знаешь! И уголь крупный, долго в загнетке живет.

Он говорил просто, от сердца, гудел ровным, густым голосом без всяких намеков на поучительность или старшинство, не собирался прерывать свои рассуждения, словно пытался опровергнуть по случаю сложившееся мнение о нем, как о замкнутом человеке. И это оказалось новым для Леньки, вогнало в смущение, заставило замолчать.

– Да-аа! – душевно и бесхитростно восклицал Савелий Игнатьевич. – Береза – принцесса в нашем лесу. Королева, можно сказать, А то бы – осину рядом! Ну-у!.. Само собой, – мыкнув коротко, душил он в себе буйную ребячью радость, – и осина – полезно дерево. Для камина, возьми, там – осина. Горит ровно, бездымно, но без чувств. Ровно колетса, но веника не свяжешь, не береза. А то в Азии маленько пришлось побывать, дак там веники, знаешь, из чего мастрячат?

Простые настолько же ответные слова были близко, но не шли, не получалось у Леньки с ответом. Пожимая плечами, он стоял, облокотившись на дверной косяк банешки и, уронив голову на грудь, ковырял снег носком старого валенка.

– Из акации всякой, хотя в бане по-нашему, когда для здоровья, вовсе не понимают. Из дуба бывает. Но реже, из дуба и всяково... Или ище видел: корень у нас растет сладкий, копать ево любите – робятишки. Солодка – знаешь?

Ленька кивал, что-то в нем просыпалось вроде бы уважительное к этому ненавязчивому в своей простоте, безобидному, в общем-то, человеку, но на большее чувств пока не хватало.

– Вот. Из нее. Та-ак.

Варвара вела себя хитро и выжидательно. Без труда догадываясь, что работу мужики закончили, и у нее готов ужин, звать к столу не спешила. Пусть поговорят, как уж ни завязалось. Вслушиваясь в гудение Савелия, пыталась дождаться ответного Ленькиного голоса.

Савелий Игнатьевич поднялся с уцелевшего чурбачка, вырвав увязший в рядом топор, тепло произнес:

– Айда без приглашения – не зовет што-то к ужину наша Варвара. Пошли, Леонид.

Сделав традицией, каждое утро по дороге на пилораму за Савелием Игнатьевичем заходили дружки-приятели Данилка Пашкин и Бубнов Трофим. Бубнов носил малахай, сшитый дедом Паршуком из собачьей шкуры, и сам был щетинистый, давно не бритый, как взъерошенная псина. Глаза его утопали под рыжими, всегда подпаленными бровями, на широкоскулом монгольском лице с массивным лбом, вспучившимся буграми, пучки рыже-седоватой волосни. В избу Бубнов заходил редко, мял снежок на дворе. Данилка лез через примерзшие к порожку половики, прочее тряпье, утепляющее мокрый, обледенелый низ двери, гудел:

– Опять в натальной рубахе застаю? Опять с Варварой трали-вали разводишь, боишься разлучиться?

Он говорил подобное всякий раз, даже когда Савелий Игнатьевич бывал одет и делал шаг встречно. Савелий Игнатьевич скалился, должно быть, прозрачные намеки Данилки нравились, шумнее топотел собачьими унтами.

– Седне комиссия обещалась, – сказал он, когда Ленька, готовясь в последний раз перед школой проверить петли, менял на лыжах изношенное крепление. – Сам Кожилин позвонил, штоб готовились.

– Ну-к че, тебя проверять, не нас, – беззаботно зубоскалил Данилка. – Ты и подпоясывайся потуже.

Директор приехал под вечер, Ленька к тому времени поснимал на тропях и полянках, усыпанных зеленкой, ненужные больше снасти и, сделав порядочный круг, с тушкой зайца-беляка и пятком куропаток на поясе, подходил к осинничку.

Солнце, близкое и крупное, наваливаясь предзакатной спелостью, окунулось в густое молоко тумана за речкой. Хрустко ломаясь под лыжами, белая короста полей вспыхивала розовыми, долго негаснущими искрами. Ослепительного мерцания вокруг было так много, что сам воздух казался слаще, прозрачнее, хрупче. Куцая машинешка под линиялым тентом упрямо лезла на суметы, ретиво молотила колесами уплотнившийся наст, пятилась и снова отчаянно кидалась вперед. Из осинничка выкатились мальцы во главе с Петькой Симаковым:

– Сядет!

– Ты что! С двумя-то мостами! Ни в жисть!

– На спор?

– Была нужда!

– Сядет! Один уже готов, гляди!

– Один! Так один, а другой?

Машина победила на пределе возможного. Оставляя глубокую рыхлую колею, по которой устремились мальчишки, лихо развернулась в конце строящейся эстакады. Андриан Изотович лез к ней напрямки, через сугроб. Неуклюжий в распахнутой меховушке, краснолицый. Голова встрепанная и непокрытая.

– Ждали! С утра ждем, Николай Федорыч! А ну-ка окиньте, как мы тут устряпываем под ветлугинскую команду!

– Идет работа. Хоть на центральную твоего Ветлугина забирай, не подведет.

– Э-э! Э-ээ, чего захотел! – суетился самодовольно Андриан Изотович. – Нам такие самим нужны, правда, Савелий!

Савелий Игнатьевич вел себя иначе. К директору не спешил. Вогнав топор в бревно и будто не слушая посыпавшихся восхвалений, мирно переговаривался с Бубновым.

Леньке это понравилось. По-особому как-то пришлось по душе, и его затверделые на морозе губы согрела нечаянная улыбка.

Андриан Изотович и Кожилин поднялись на эстакаду, голоса слились, отодвинулись. На входе в осинник Ленька услышал вскрик Васьки Горшкова.

– Стой! Стой, глухая тетеря! – нагоняя его, кричал Васька. – Белячка нам гони ради банного дня. Они Николай Федорыча уговаривают на баньку по-маевски, а Николай Федорыч

смеется: вон если зайца Ленька Брыкин отдаст, так и быть, соглашусь. Понял? Ты их вон сколь за каникулы переловил, не пожадничай. Занесешь Таисии, или я давай оттартаю.

Баня! Эту древнюю усладу всякой крестьянской души Савелий Игнатьевич обожал до самозабвения. Топили ее по субботам, но парились они врозь, что отчим старался сделать до его приезда, а если, случалось, Ленька заявлялся раньше обычного, заставлял в сборах, говорил необязательное насчет обогреться-перекусить с дороги, торопливо ныряя в низенький предбанник, в сухой, терпкий жар парилки.

Во время неловких пауз мать несколько раз пыталась прийти им на помощь:

– Ну, че бы не вместе, пурхаетесь по одному, на каменку друг дружке плеснуть некому! Может, вместе собрать, а, мужики?

Савелий Игнатьевич хмурился, заметней поспешал со сборами, а Ленька, досадуя на себя и глубоко-глубоко ощущая благодарную признательность Савелию Игнатьевичу, что не ставит сложной задачи, отворачивался, будто не слышал мать, краснел.

– Ну, как знаете. На вас, упрямых, сроду не угодить...

Савелий Игнатьевич истязал себя на полке долго, нещадно. Мать по несколько раз навещала к нему, возвращаясь взмокшая, горячая, всплескивала руками:

– Язви его, медведь волосатый, ну и хлещется. Все нутро с ним сожгла.

Это не было осуждением Савелия Игнатьевича, а являлось минутой ее особенного торжества, какого-то неземного блаженства. Поджидая его из парилки, она перестилала постель, взбивала подушки, переставляла в печи чугуны и сковороды, перешивала кажущиеся слабо пришитыми пуговицы на белье, придиричиво ощупывала чистые шерстяные носки.

Савелий Игнатьевич появлялся в избе бесшумной невесомой тенью. В накаленном, с остро-березовым духом, растекающемся облаке. Бугристое тело его, покрытое густыми волосами, было исполосовано, исхлестано, истерзано, кожа казалась багрово-красной, точно вывернутой наизнанку. И дышал он будто не легкими, а всем этим огромным взрыхленным туловом. Наступала уважительно-молчаливая со стороны матери минута, когда она окончательно забывала о себе, что вокруг, и видела только его.

Она подавала Савелию Игнатьевичу большую кружку кваса или некрепкой домашней браги, сдобренной ягодным сиропом и закрашенной пережженным сахаром. Савелий Игнатьевич выпивал одним духом, заметней слабел. Пот струился с него все обильнее, мать обтирала его крепкими, почти мужскими движениями и была похожа на блаженную.

Нет, ревности к ней Леонид не испытывал, вроде бы не было этого. Но надо ли сразу, при нем? А если... как с Иннокентием Пластуновым?

Возраст принуждал, он отчетливо сознавал, что всякая мать – остается женщиной и, как всякая женщина, не может безраздельно принадлежать только детям, имея право пусть на маленькую личную жизнь, сокрытую от постороннего глаза, и в отношении к своей матери, не являясь оригинальным и единственным в природе, принять такого не мог. Но, не умея радоваться ее тихой, сжигающей словно или более привычной многословно-егозливой радостью, он в глубине сознания невольно возбуждался материнским шальным весельем, начиная страдать за нее. Его назойливая мысль, что и эта связь может оказаться короткой, оборваться внезапно, зарождая невольный страх, не приносила эгоистического удовлетворения. Ощущая неприятную раздвоенность потребного себе и необходимого матери, он однажды услышал фразу, от которой заныла душа.

– Глухо в деревне, как в ссылке, никак не могу привыкнуть, – сказал однажды ночью Савелий Игнатьевич, ворочаясь за перегородкой. – Робишь, робишь день-другой, вроде складно, не об чем думать, а то не знаешь, руки куда приспособить, на снег вприщурку пялишься... Болтов крепежных две недели допроситься не могу – ну што за работа! То там, то там. Да едрит вашу кашу, да как вы решаете так безголово, позвольте спросить? Как нарошно, Варя, ведь одно расстройство, а не работа. Не умею я так. Не хочу.

– Деревня, сам говоришь! Деревня, Савелий, не производство, – виновато, несмело произнесла мать.

– А в деревне должно быть иначе? За тако разгильдяйство разню головы надо снимать подчистую. Не-ее, в лесу, где я сам себе голова, мне понятней: начальства меньше, а порядка больше. – Он чиркнул спичкой, по-видимому, закурил, и скоро продолжил: – Если бы не Грызлов, не Андриан, Варя, не знаю, уж не обессудь...

Мать молчала, и тяжелое ее молчание становилось невыносимым.

– Я же вчерась опеть хлобыстнул с ними, по сей час печенка горит, ну и без этого... Посуди-ка, ну штоб за мужик – рыло в сторону от людей, рыло на локоть?

– Понимаю, че же мне объяснять и оправдываться, зима есть зима, не хочешь, да сдурешь. Вот стает снег, запрягут. Пахота, посевная, огороды... Уж скоро, Савушка, скоро совсем, че уж ты так-ту...

Стихло, Ленка долго не мог уснуть, было больно за мать и неловко. Мать словно уговаривала Савелия Игнатьевича стать терпимее к их деревенской жизни, смирить гордыню, жить схоже со всеми, лаской и сочувствием старалась удержать возле себя этого, нечаянного ей, как снег на голову, человека. Все было схоже с тем, о чем рассуждал недавно по поводу удержания женщиной мужчины шофер Юрий Курдюмчик, да не все в сложном и противоречивом настолько принимала его неопытная, неокрепшая душа и бессильно терзалась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.